

Шарль Бодлер Цветы зла

Теофиль Готье ШАРЛЬ БОДЛЕР

<...> Шарль Бодлер родился в Париже 21 апреля 1821 года, в одном из тех старых домов на улице Hautefeuille, на углах которых возвышались башенки в виде перечницы и которые, вероятно, исчезли совершенно благодаря городским властям, слишком приверженным прямой линии и широким путям.

Он был сын г. Бодлера, старого друга Кондорсе и Кабаниса, человека выдающегося, образованного и сохранившего ту обходительность XVIII века, которой не уничтожили совершенно, как это думают, претенциозно-грубые варвары республиканской эпохи. Это свойство перешло и к поэту, который всегда сохранял самую изысканную вежливость.

В ранние годы Бодлер не был чудо-ребенком, пожинаящим школьные лавры. Он даже с трудом сдал экзамен на бакалавра и был принят почти из жалости. Г. Бодлер умер, и его жена, мать Шарля, вышла за генерала Опика, бывшего позднее посланником в Константинополе. В семье не замедлили возникнуть неудовольствия по поводу рано проявившегося у Бодлера призвания к литературе.

Эти родительские страхи при проявлении у сына зловещего поэтического дара – увы! – очень законны, и напрасно, по нашему мнению, биографы поэтов упрекают отцов и матерей в недомыслии и прозаичности. На какое печальное, неопределенное и жалкое существование, не говоря уже о денежных затруднениях, обрекает себя тот, кто вступает на тернистый путь, который зовется литературной карьерой!

С этого дня он может считать себя вычеркнутым из числа людей: всякая деятельность для него прекращается; он более не живет, он – только наблюдатель жизни. Всякое ощущение влечет его к анализу. Непроизвольно он раздваивается и, за недостатком другого объекта, становится собственным шпионом. Если нет трупа, он сам растянется на черной мраморной плите и каким-то чудом, нередким в литературе, вонзит скальпель в собственное сердце. А как жестока борьба с Идеей, этим неуловимым Протеем, принимающим всевозможные формы, чтобы ускользнуть, и выдающим свою тайну лишь тогда, когда его принудят силой показаться в своем истинном виде!..

Овладевая Идеей, как овладевают врагом, растерянным и трепещущим под коленом победителя, надо ее поднять, облечь в сотканное для нее с таким трудом словесное одеяние, прикрасить его и драпировать строгими или грациозными складками.

Если борьба затягивается, то нервы раздражаются, мозг воспаляется, восприимчивость становится слишком тонкой, является невроз с его капризным беспокойством, с его бессонницами, исполненными галлюцинаций, с его не поддающимися определению страданиями, болезненными прихотями, фантастическими извращениями, с его безумной энергией и нервными прострациями, с его стремлением к возбуждающим средствам и отвращением от всякой здоровой пищи. Я не сгущаю красок: многие смерти подтверждают истинность моих слов!

Я имею в виду только талантливых поэтов, познавших славу и умерших, по крайней мере, на лоне своего Идеала. А что было бы, если бы мы спустились в те загробные миры, где блуждают, среди теней младенцев, мертворожденные призвания, бесплодные порывы, личинки идей, не нашедших ни крыльев, ни форм, ибо желание – еще не власть, любовь – не обладание. Веры не достаточно, нужна благодать. В литературе, как в теологии, дела без милосердия – ничто. Родители и не подозревают всего ада терзаний; чтобы его познать как следует, надо самому спуститься по его кругам в сопровождении не Вергилия или Данте, а какого-нибудь Лусто, Люсьена де Рюампре или кого-нибудь из журналистов Бальзака; но все-таки они инстинктивно предчувствуют опасности и страдания, свойственные жизни артиста или литератора, и стараются отвра-

тить от нее своих детей, которых любят и которым желают положения, счастливого в общечеловеческом смысле.

Только раз, с тех пор как земля вращается вокруг солнца, нашлись родители, горячо желавшие иметь сына для того, чтобы посвятить его поэзии. Сообразно с этим намерением ребенку дали самое блестящее литературное образование – и, по жестокой иронии судьбы, из него вышел Шапелен, автор «Девственницы». Надо сознаться, что дело не выгорело!..

Бодлера отправили путешествовать, чтобы дать другое направление его мыслям, в которых он упорствовал. Его отправили очень далеко. Порученный капитану корабля, он объехал морем Индию, видел острова Маврикий, Бурбон, Мадагаскар, может быть, Цейлон, некоторые места в устьях Ганга и все-таки не отказался от своего намерения стать поэтом. Тщетно старались заинтересовать его торговлей, – сбыт товаров не занимал его; торговля быками для доставления бифштексов англичанам в Индии не прельщала его, и из всего длинного путешествия он вынес только ослепление пышностью, которое и сохранил на всю жизнь. Его пленяло небо, на котором блистают созвездия, неизвестные в Европе; великолепные исполинские растения с всепроникающим ароматом, прекрасные причудливые пагоды, смуглые фигуры, задрапированные в белые ткани, – вся эта экзотическая природа, такая знойная, мощная и яркая; в своих стихах он часто вновь и вновь возвращается от туманов и слякоти Парижа к этим странам лазури, света и ароматов. В его самых мрачных произведениях вдруг точно откроется окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш, глянет на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой берег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой жительницы Малабара, несущей на голове глиняный кувшин. Не желая вторгаться в личную жизнь поэта, мы все-таки позволим себе выразить предположение, что именно во время этого путешествия он создал себе культ черной Венеры, которому и остался верен всю жизнь.

Когда он вернулся из этих дальних странствований, наступило как раз его совершеннолетие. Не было больше никаких оснований (даже не возникало и денежных затруднений – он был богат, по крайней мере, на некоторое время) противиться призванию Бодлера. Призвание это только окрепло в борьбе с препятствиями, и ничто не могло теперь отклонить поэта от его цели. Поселившись в маленькой холостяцкой квартире под крышей того самого отеля «Пимодан», где мы с ним встретились позднее, как сказано выше, он начал вести ту жизнь, полную беспрестанно прерываемой и возобновляемой работы, бесплодного изучения и плодотворной лени, ту жизнь, какую ведет каждый писатель, ищущий своего собственного пути. Бодлер нашел его скоро. Он открыл не по сию, а по ту сторону романтизма неисследованную землю, нечто вроде дикой и грубой Камчатки, и на самой крайней точке ее построил себе, как говорит признававший его Сент-Бев, беседку или, скорее, юрту причудливой архитектуры.

Тогда были уже написаны многие из тех произведений, которые находятся в «Цветях зла». Бодлер, как все прирожденные поэты, с самого начала овладел формой и создал свой собственный стиль, которому он позднее придал еще большую выразительность и отделку, но все в том же направлении.

Бодлеру часто ставят в упрек умышленную вычурность и чрезмерную оригинальность, которой он стремится достигнуть во что бы то ни стало, особенно же так называемый маньеризм. На этом пункте следует остановиться. Есть люди, которые вычурны от природы. У них простота была бы, наоборот, аффектацией. Им пришлось бы приложить много стараний и много работать над собой, чтобы стать простыми. Извилины их мозга расположены таким образом, что идеи как бы изгибаются, запутываются и закручиваются в спираль, вместо того чтобы следовать прямой линии. Первыми у них появляются идеи самые сложные, самые утонченные и самые напряженные. Они видят вещи под странным углом зрения, изменяющим их вид и перспективу. Из всех образов их преимущественно поражают образы наиболее причудливые, необычные, наиболее фантастично-далекие от данного предмета, и они умеют вплетать их в основу таинственной нити, тотчас же распутывающейся.

Таков был ум Бодлера – и там, где критики хотели видеть работу, усилие, преувеличение или искусственный пароксизм, там имело место только вполне свободное проявление личности. Его стихи, благоухающие как изысканные и редкие духи в прекрасно ограненных флаконах, да-

вались ему не труднее, чем другому какое-нибудь общее место, дурно рифмованное.

Бодлер, воздавая великим учителям прошлого дань удивления, которую они заслужили с исторической точки зрения, не брал их за образец для подражания: им посчастливилось явиться в период юности мира, так сказать, на заре человечества, когда еще ничто не нашло себе изображения, и всякая форма, всякий образ, всякое чувство имели прелесть девственной новизны. Великие общие места, лежащие в основе человеческой мысли, были тогда в полном своем расцвете и удовлетворяли наивных гениев, говоривших с народами, не вышедшими из детства. Но благодаря повторениям эти общие поэтические темы поистерлись, как монета от долгого обращения. Кроме того, жизнь стала сложнее, обогатилась сведениями и идеями и не укладывается более в этих искусственных сочетаниях доброго старого времени.

Насколько обворожительна настоящая невинность, настолько раздражает и вызывает отвращение кривлянье, представляющееся наивным. Наивность не свойственна XIX веку; для передачи его мыслей, мечтаний, посылок нужен язык более сложный, чем так называемый *классический стиль*. Литература, подобно суткам, имеет свое утро, свой полдень, вечер и ночь. Вместо тщетных пререканий об относительном превосходстве утренней зари или сумерек, следует изображать тот именно час, который переживается, и теми красками, которые необходимы для передачи эффектов именно этого часа. Разве у заката не может быть своей собственной красоты, как и у утра? Эта красноватость меди, это зеленоватое золото, эти оттенки бирюзы, сливающиеся с сапфиром, все эти краски, пылающие и разрешающиеся в большой общий пожар, эти облака странных и чудовищных форм, пронзенные лучами света и кажущиеся гигантскими развалинами воздушного Вавилона, – разве в них меньше поэзии, чем в розовоперстой Авроре, которою мы восхищаемся?.. Но давно уже пролетели Часы, предварявшие колесницу Дня на плафоне Гвидо!..

Поэт «Цветов зла» любил то, что ошибочно называется *стилем декаданса* и есть не что иное, как искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие. Этот «стиль декаданса» – последнее слово языка, которому дано все выразить и которое доходит до крайности преувеличения. Он напоминает уже тронутый разложением язык Римской империи и сложную утонченность византийской школы, последней формы греческого искусства, впавшего в расплывчатость. Таким бывает, необходимо и фатально, язык народов и цивилизаций, когда искусственная жизнь заменяет жизнь естественную и развивает у человечества неизвестные до тех пор потребности.

Кроме того, этот слог, презираемый педантами, далеко не легкая вещь: он выражает новые идеи в новых формах и словах, которых раньше не слыхивали. В противоположность «классическому стилю» он допускает неясности, и в тени этих неясностей движутся зародыши суеверия, угрюмые призраки бессонницы, ночные страхи, угрызания совести, вздрагивающей и озирающейся при малейшем шорохе, чудовищные мечты, которые останавливаются только перед собственным бессилием, мрачные фантазии, которые способны изумить весь мир, и все, что скрывается самого темного, бесформенного и неопределенно-ужасного в самых глубоких и самых низких тайниках души.

Понятно, что 1400 коренных слов языка не удовлетворяют автора, который взял на себя тяжелую задачу изобразить современные идеи и вещи в их бесконечной сложности и многообразной окраске. Таким образом, Бодлер, который, несмотря на малые успехи при экзамене на бакалавра, был хорошим латинистом, наверное, предпочитал Вергилию и Цицерону – Апулея, Петрония, Ювенала, Блаженного Августина и Тертулиана, слог которого имел мрачный блеск черного дерева. Бодлер доходил даже до церковной латыни, той прозы и тех гимнов, в которых рифмы воспроизводят забытый античный ритм. Он написал под заглавием «Franciscae meae Laudes» к «ученой и благочестивой модистке» (как гласит посвящение) латинские стихи, рифмо-

ванные в той форме, которую Бризе называет *тройственной*, – состоящей из трех рифм, которые следуют одна за другой, вместо того чтобы переплетаться, как в Дантовой терцине. К этому странному стихотворению присоединено не менее странное примечание, которое я привожу здесь; оно объясняет и подкрепляет только что сказанное мною о стиле языка декаданса.

«Не кажется ли читателю вместе со мной, что язык последнего времени латинского декаданса – последний вздох сильного человека, уже созревшего и подготовленного к духовной жизни – удивительно удобен для выражения страсти, как ее понимает и чувствует современный поэтический мир? Мистицизм – это полюс магнита, противоположный тому полюсу чувственности, который исключительно знал Катулл и его последователи, поэты грубые и животное-чувственные.

Этот удивительный язык своими солецизмами и варваризмами передает, как мне кажется, доведенную до чрезмерности распушенность страсти в ее самозабвении и пренебрежении правилами. Слова, взятые в новом значении, обнаруживают обворожительную неловкость северного варвара, преклоняющего колени перед римской красотой. Даже каламбур, пройдя через это педантическое заикание, как бы приобретает дикую грацию и детскую неправильность».

Не следует заходить слишком далеко. И Бодлер, если ему не надо выразить какого-нибудь удивительного отклонения, какой-нибудь неизвестной стороны души или вещи, выражается языком чистым, ясным, правильным и настолько точным, что самые строгие судьи ни в чем его не упрекают. Это особенно заметно в его прозе, когда он говорит о предметах более обычных и менее отвлеченных, чем в своих стихах, почти всегда полных крайней концентрации.

Что касается философских и эстетических теорий Бодлера, то он примыкал к доктрине Эдгара По, которого, однако, в то время он еще не переводил, но с которым у него была поразительная конгениальность. К нему применимы его собственные слова об американском авторе в предисловии к «Необычным рассказам»: «Он считал прогресс, великую современную идею, за экстаз легковверных и называл усовершенствования человечества рубцами и прямолинейными мерзостями. Он верил в неизменное, в вечное, в *self-same* и обладал – о жестокое преимущество – среди самовлюбленного общества тем великим здравым смыслом Макиавелли, который, подобно огненному столбу, шествует перед мудрецом в пустыне истории».

Бодлер чувствовал непреодолимый ужас перед филантропами, прогрессистами, утилитаристами, гуманистами, утопистами и всеми, кто тщится что-нибудь изменить в неизменной природе и в роковом устройстве общества. Он не мечтал об упразднении ада или гильотины для большего удобства грешников и убийц; он не думал, что человек рожден добрым, и допускал первородный грех как элемент, который всегда найдется в глубине самых чистых душ, т. е. ту греховность, которая, как дурной советчик, всегда натолкнет человека на то, что для него губительно, – и именно потому, что это губительно, из одного удовольствия воспротивиться закону, ради одной прелести послушания, помимо всякой чувственности и соблазна. Такую греховность он констатировал и бичевал и в других и в себе, как застигнутого на месте преступления раба, но воздерживался от всякого проповедничества, считая эту греховность неизлечимой в силу вечного проклятия.

Напрасно близорукие критики обвиняли Бодлера в безнравственности. Эта очень удобная для завистливой посредственности тема обвинения всегда радостно подхватывается фарисеями, людьми вроде Ж. Прудона. Никто не питал более высокомерного отвращения к духовной низости и телесному безобразию, чем Бодлер. Он ненавидел зло, как отклонение от математической правильности, от нормы, и в качестве безупречного джентльмена презирал его, как неприличное, смешное, мещанское и, главное, неопрятное. Если он часто касался предметов безобразных, отвратительных и болезненных, то это объясняется теми *чарами*, которые заставляют замагнитизированную птицу спускаться к нечистой пасти змеи. Но часто сильным взмахом крыла он разрушает эти чары и вновь поднимается в самые лазурные области чистого духа. Он мог бы вырезать девизом на своей печати слова: «Сплин и Идеал», которые служат заглавием 1-й части тома его стихов. Если его букет составлен из странных цветов с металлическим оттенком, с головокружительным запахом, – венчик которых, вместо росы, содержит едкие слезы или капли *aqua toffana*, – он может ответить, что иные цветы и не растут на черной и насыщенной гниющей-

ми веществами почве, какова почва кладбища старчески-хилых цивилизации, где среди вредных миазмов разлагаются трупы прошлых веков; без сомнения, незабудки, розы, маргаритки, фиалки – все это приятные весенние цветы, но их не встретишь на грязной мостовой большого города.

Кроме того, раз Бодлер постиг грандиозность тропического пейзажа с его вздымающимися, как грезы, гигантскими деревьями необычайной красоты, его мало трогали жалкие сельские пейзажи городских окрестностей, и он не приходил в восторг, подобно гейневским филистерам, от романтического расцвета новой зелени и не лишался чувств от чириканья воробьев. Он любит следовать по всем закоулкам Парижа, за бледным человеком, искаженным, изнывающим в судорогах искусственных страстей и реальной современной скуки, любит захватить его врасплох в его тревоге, страхах, бедствиях, падениях, в его неврозе и отчаянии. Он наблюдает, как копошатся, подобно кольцам гадюки под разгребенным мусором, зарождающиеся дурные инстинкты, низкие привычки, лениво погрязшие в тине, в грязи, и при этом зрелище, которое и привлекает его внимание и внушает ему отвращение, им овладевает неисцелимая меланхолия: он не считает себя *лучше* других и страдает, видя, как чистый свод небес и целомудренные звезды окутываются нечистыми испарениями.

Понятно, что с подобными идеями Бодлер стоял за безусловную свободу искусства, он не допускал для поэзии иной цели, кроме поэзии, иной миссии, кроме пробуждения в душе читателя ощущений прекрасного в безусловном смысле этого слова. К этому ощущению в наше далеко не наивное время он считал необходимым прибавить некоторые эффекты неожиданности, удивления, изысканности. Насколько возможно, он изгонял из поэзии риторичность, страсти и рабски-точное воспроизведение действительности. Подобно тому, как не следует употреблять в ваянии куски только что вылепленные, так и он хотел, чтобы всякий предмет, прежде чем войти в сферу искусства, испытал превращение, которое усвоило бы его этой тонкой среде, идеализируя и удаляя от тривиальной действительности. Эти принципы могут поразить при чтении некоторых стихов Бодлера, в которых ужасное кажется желанным; не следует заблуждаться: это *ужасное* всегда и в своей сущности и в проявлении преобразовано лучом в духе Рембрандта или чертой величия в духе Веласкеса, обнаруживающей породу под отвратительным безобразием. Смешивая в своем котле все фантастически-странные и кабалистически-ядовитые составные части, Бодлер может сказать вместе с ведьмами Макбета: «Прекрасное – ужасно, ужасное – прекрасно!» Это преднамеренное безобразие не противоречит высшей цели искусства, и стихи, подобные «Семи старикам» или «Маленьким старушкам», заставили св. Иоанна поэзии, грезящего на Патмосе-Гернсей, сделать следующую характеристику автора «Цветов зла»: «Вы обогатили небо искусства каким-то мертвящим лучом; вы создали новый вид ужаса». Но это только, так сказать, тень таланта Бодлера, та огненно-рыжая или холодно-синеватая тень, которая служит ему для оттенения основной яркой манеры изображения. Этому таланту – с виду неровному, лихорадочному и мучительному – присуща чистая ясность. На горных вершинах он спокоен: *Rasem summa tenent.*

Но вместо того чтобы излагать эти идеи автора, гораздо проще предоставить ему говорить самому за себя: «Если только захотеть углубиться в себя, вопрошать свою душу, вызывать воспоминания своих восторгов, то у поэзии не будет иной цели, кроме самой поэзии; она не может иметь другой цели, и никакая поэма не будет столь возвышенна, столь благородна, столь поистине достойна названия поэмы, как та, которая будет написана единственно из удовольствия написать поэму. Я не могу сказать, что поэзия не облагораживает нравы (пусть меня хорошенько поймут), что ее конечным результатом не будет возвышение человека над интересами толпы. Это было бы очевидной нелепостью. Я говорю, что поэт, преследуя моральную цель, уменьшает поэтическую силу, и без риска можно утверждать, что произведение его будет дурно. Поэзия не может под страхом смерти или падения ассимилироваться с наукой или моралью. Предметом ее должна быть *она* сама, а не *истина*. Истина доказывается иными способами и в ином месте. У истины нет ничего общего с песнями; все, что составляет очарование, неотразимую прелесть песни, – все это только лишило бы истину власти и могущества. Холодный, спокойный, бесстрастный дух доказательства пугает Музу с ее алмазами и цветами: ведь он – безусловная противоположность Духу поэзии. Чистый разум стремится к Истине, эстетический вкус ищет Кра-

соты, а моральное нравственное чувство научает нас *Долгу*. Правда, чувство золотой середины имеет близкое соприкосновение с двумя крайностями и так мало различается от морального нравственного чувства, что Аристотель не поколебался занести в разряд добродетелей некоторые из его тонких проявлений. Итак, что особенно возмущает человека с развитым вкусом в зрелище порока – это его безобразие, дисгармоничность. Порок покушается на справедливость и истину, возмущает разум и совесть; но, как нарушение гармонии, как диссонанс, он особенно оскорбляет поэтичные души, и я считаю уместным смотреть на всякое нарушение морали – моральной красоты как на преступление против мирового ритма, мировой просодии.

Этот дивный, этот бессмертный инстинкт *прекрасного* заставляет нас видеть в земле и ее зрелищах только намеки, отражение соответствий *небесному*. Неутолимая жажда всего, что по ту сторону, что скрыто за жизнью, – самое яркое доказательство нашего бессмертия. Красоту и величие, скрытые за могилой, душа провидит в поэзии и через поэзию, в музыке и через музыку. И когда чудная поэма вызывает слезы на наши глаза, то слезы эти льются не от избытка наслаждения, они скорее свидетельствуют о проснувшейся грусти, об одухотворении нервов, о природе, страждущей в несовершенстве, которая стремится сейчас же, здесь же на могиле, овладеть открывшимся для нее раем.

«Итак, начало, принцип поэзии, говоря кратко и просто, – стремление человека к высшей Красоте, а проявление этого начала – в энтузиазме, в возвышенном состоянии души, энтузиазме, свободном от страсти, опьяняющей сердце, и от истины, питающей разум. Ведь страсть – вещь земная, даже слишком земная, чтобы не ввести режущего, фальшивого звука в царство красоты; слишком обыденная и слишком резкая, чтобы не оскорбить чистые желания, нежную грусть и благородное отчаяние в надземных областях поэзии».

Хотя мало найдется поэтов, более блестящих оригинальностью произвольных вдохновлений, чем Бодлер, все-таки он утверждает, – вероятно, из отвращения к ложному лиризму, притворяющемуся, что верит в сошествие огненных языков на писателя, но с трудом рифмующего строфу, – что истинный творец вызывает, направляет и изменяет по своей воле эту таинственную способность литературного творчества, и в предисловии к переводу знаменитой поэмы Эдгара По, озаглавленной «Ворон», мы находим следующие строки, полуиронические, полусерьезные, где собственная мысль Бодлера формулируется под видом анализа мысли американского писателя.

«Говорят, поэтика составляется по образцам поэм. Вот поэт, который утверждал, что его поэма была составлена по правилам поэтики. Конечно, он был великим гением и более вдохновенным, чем кто-либо, если под вдохновением разуметь энергию, *интеллектуальный энтузиазм* и власть держать свои способности в напряженном состоянии. Но он также любил работать более, чем кто-либо другой; он любил повторять – он, автор безупречной оригинальности, – что оригинальности надо учиться; но это, конечно, не значит, чтобы можно было передать оригинальность путем обучения. Случай и непонятное – два великие врага. Отдавался ли он вдохновению, из какого-то странного и забавного тщеславия, гораздо менее, чем ему было свойственно по природе? Сдерживал ли свой природный дар, чтобы уступить лучшую часть воле? Я очень склонен думать так; хотя, впрочем, не следует забывать, что гений его при всей своей пылкости и живости был страстно предан анализу, комбинированию и расчету. Одной из его любимых аксиом было: «В поэме, как и в романе, в сонете, как и в новелле, – все должно клониться к развязке. Хороший автор видит уже последнюю строчку, когда только пишет первую». Благодаря такому удивительному методу автор может начать свое произведение с конца и работать, когда ему вздумается, над какой угодно частью. Поклонники *творческого исступления*, может быть, будут возмущены такими циничными правилами; но всякий может поступать по своему вкусу. Всегда полезно показать, какую выгоду искусство может извлечь из сознательности, и дать понять светским людям, какого труда требует тот предмет роскоши, который зовется поэзией. В конце концов, гению всегда разрешается маленькая примесь шарлатанства, что даже идет ему. Это подобно румянам на щеках от природы прекрасной женщины, новая прикраса для духа».

Эта последняя фраза характерна и выдает особую склонность поэта к *искусственности*. Он, впрочем, и не скрывал этой склонности. Ему нравилась эта сложная и иногда деланная кра-

сота, которая вырабатывается у цивилизаций очень развитых и очень испорченных. Чтобы выразить свою мысль образно, скажем, что он предпочел бы наивной молодой девушке, вся косметика которой заключается в чистой воде, женщину более зрелую, употребляющую все средства изощренного кокетства перед туалетом, уставленным всякими эссенциями, щеточками и щипчиками. Глубокий аромат кожи, пропитанной благовониями, подобно коже Эсфири, которую погружали шесть месяцев в пальмовое масло и шесть месяцев в кинамон, прежде чем представить ее царю Артаксерксу, оказывал на него опьяняющее действие. Легкий слой румян китайской розы или гортензии на свежей щеке, мушки, вызывающе наклепанные в углах губ или глаз, подрисованные веки, окрашенные в рыжий цвет и посыпанные золотом волосы, губы и кончики пальцев, оживленные кармином, – все это нравилось ему. Он любил это ретуширование природы искусством, благодаря которому опытная рука делает заметнее прелесть, очарование и характер физиономии. Он, во всяком случае, не разразился бы добродетельными тирадами против притирания и кринолина. Все, удалявшее мужчину, а особенно женщину от природного состояния, казалось ему счастливым изобретением. Такие малоприменимые вкусы сами объясняются и понятны у поэта декаданса, автора «Цветов зла». Мы никого не удивим, если прибавим, что простому запаху розы или фиалки он предпочитал бензой, амбру и даже мускус, презираемый в наше время, а также аромат некоторых экзотических цветов, который слишком силен для наших умеренных стран. Относительно запахов у Бодлера была такая удивительно-изощренная впечатлительность, какая встречается только у жителей Востока. Он с наслаждением проходил всю гамму благоуханий и мог с полным правом применить к себе фразу, цитируемую Банвилем: «Моя душа порхает в волнах благовоний подобно тому, как душа других парит в музыке». Он любил также туалеты изысканно-элегантные, капризно-роскошные, дерзко-фантастические, в которых было что-то напоминающее актрису или куртизанку; хотя сам одевался всегда со строгой простотой, но вкус ко всему преувеличенному, кричащему, противоестественному, почти всегда противоположный классически-прекрасному, был для него признаком человеческой воли, исправляющей по-своему формы и цвета, присущие материи. Там, где философ находит только предлог для декламации, он видел доказательства величия. Извращение, т. е. удаление от нормального типа, невозможно для животного, неизбежно руководимого неизменным инстинктом. На том же основании поэты вдохновения, творящие бессознательно и безвольно, внушали ему некоторое отвращение, и он хотел, чтобы в самой оригинальности имело место искусство и работа.

Бодлер был натурой тонкой, сложной, резонирующей, парадоксальной и более склонной к философствованию, чем обыкновенно бывают поэты. Эстетика творчества очень его занимала; он был полон систем, которые пытался осуществить, и все, что он делал, было подчинено плану. По его мнению, литература должна быть *намеренной*, и доля *случайного* в ней должна быть доведена до возможного минимума. Это не мешало ему, как истинному поэту, пользоваться счастливыми случайностями при выполнении и теми красотами, которые неожиданно распускаются из глубины самой темы, подобно цветам, случайно попавшим в семена сеятеля. Каждый художник до некоторой степени подобен Лопе де Вега, который в момент сочинения своих комедий всякие правила замыкал на шесть замков – *con seis Naves*.

В пылу работы, произвольно или нет, он забывает все системы и парадоксы.

Слава Бодлера, в течение нескольких лет не выходящая за пределы небольшого кружка, центром которого всегда становится нарождающийся гений, вдруг прогремела, когда он явился перед публикой с букетом «Цветов зла», букетом, не имеющим ничего общего с невинными поэтическими пучками начинающих. Цензура взволновалась, и несколько стихотворений, бессмертных по своей мудрости, которая так глубока, так скрыта под искусственными формами и покровами, что для понимания этих произведений читателям необходимо было высокое литературное образование, были изъяты из сборника и заменены другими, менее опасными по своей исключительности. Обычно сборники стихов не производят много шума; они появляются на свет, прозябают втихомолку, так что самое большее двух-трех поэтов достаточно для нашего умственного потребления.

Вокруг Бодлера сейчас же возник шум и блеск, а когда волнение утихло, то признали, что он дал – что очень редко – произведение оригинальное, обладающее совершенно особенной пре-

лестью. Вызвать новые, еще неизведанные *ощущения* – величайшее счастье, которое может выпасть писателю, а особенно поэту.

«Цветы зла» – одно из тех счастливых названий, которые найти бывает труднее, чем обычно думают. Оно резюмирует в краткой и поэтичной форме общую идею книги и указывает ее направление. Хотя очевидно, что и по намерению и по исполнению Бодлера надо отнести к *романтической школе*, но у него нет ясно выраженной связи ни с одним из великих учителей этой школы. Его стих, утонченной и искусной конструкции, и иногда слишком сжатый, охватывающий предмет скорее как панцирь, чем как одежда, представляет при первом чтении некоторые затруднения и неясности. Это зависит не от недостатков автора, а от того, что сами предметы, о которых он говорит, так новы, что еще никогда раньше не были переданы литературными средствами. Поэтому пришлось создавать язык, ритм и палитру. Но он не мог помешать тому удивлению, которое должны были вызвать у читателя стихи, настолько непохожие на все писавшиеся раньше. Для изображения этой ужасающей его извращенности он сумел найти болезненно-богатые оттенки испорченности, зашедшей более или менее далеко, эти тоны перламутра и ржавчины, которые затягивают стоячие воды, румянец чахотки, белизну бледной немочи, желтизну разлившейся желчи, свинцово-серый цвет зачумленных туманов, ядовитую зелень металлических соединений, пахнущих, как мышьяковисто-медная соль, черный дым, стелющийся в дождливый день по штукатурке стен, весь этот адский фон, как бы нарочно созданный для появления на нем какой-нибудь истомленной, подобной привидению головы, и всю эту гамму иступленных красок, доведенных до последней степени напряжения, соответствующих осени, закату солнца, последнему моменту зрелости плода, последнему часу цивилизаций. Книга открывается обращением к читателю, которому автор вместо того, чтобы ублажать его, как это обыкновенно делается, говорит самые жестокие истины, обвиняя его, несмотря на его лицемерие, во всех пороках, которые он порицает в других, обличает его в том, что он питает в своем сердце величайшее чудовище современности – Скуку, при всей своей мещанской пошлости плоско грезящую о римских жестокостях и разврате, обличает в чиновнике Нерона, в лавочнике Гелиогабала.

Другое стихотворение величайшей красоты, названное, без сомнения, в силу иронической противоположности «Благословением», изображает появление в мир поэта, предмета изумления и отвращения для собственной матери, стыдящейся плода своих недр; поэта, преследуемого глупостью, завистью и язвительными насмешками, жертву вероломной жестокости какой-нибудь Далилы, с радостью предающей филистимлянам его, обнаженного, обезоруженного, обритого, предварительно истощив над ним весь запас утонченно-жестокоего кокетства, поэта, приходящего, наконец, после оскорблений, несчастий, мук, очищенным крестными страданиями, к вечной славе, к светлому венцу, предназначенному на чело мучеников, страдавших за Истину и Красоту.

Следующее за этим маленькое стихотворение, озаглавленное «Солнце», заключает что-то вроде безмолвного оправдания поэта в его бесцельных странствованиях. Веселый луч блестит над грязным городом, автор выходит из дому и, приманивая, как поэт, свои стихи на дудочку – пользуясь живописным выражением старого М. Ренье, – бродит по отвратительным переулкам, по улицам, в которых закрытые ставни скрывают, подчеркивая их, тайны сладострастия, по всему этому лабиринту мрачных, сырых и грязных старых улиц с кривыми, зараженными домами, в которых там и сям вдруг на каком-нибудь окошке блеснет цветок или головка девушки. Поэт, подобно солнцу, входит всюду – в больницу и во дворец, в притон и в церковь – всегда чистый, всегда лучезарный, всегда божественный, безразлично проливая свой золотой блеск на падаль и на розу.

В «Парении» поэт является нам плавающим в небесах, в надзвездных сферах, в светозарном эфире на границах нашей вселенной, исчезающим в глубине бесконечного, как маленькое облачко; он упивается этим разреженным и целительным воздухом, до которого не поднимаются миазмы земли и который благоухает дыханием ангелов: не надо забывать, что Бодлер, несмотря на частые обвинения его в материализме – упрек, который глупость никогда не преминет бросить таланту, – напротив, одарен был в высокой степени даром *спиритуальности*, как сказал бы

Шарль Бодлер

Сведенборг. Он обладал также и даром «соответствования» (correspondence), если держаться того же мистического языка, т. е. умел открыть тайной интуицией отношения, невидимые для других, и таким образом сблизить неожиданными аналогиями, которые может уловить только ясновидящий, предметы, на поверхностный взгляд самые далекие и самые противоположные. Всякий истинный поэт одарен в большей или меньшей степени этим качеством, составляющим саму сущность его искусства.

Без сомнения, Бодлер в эту книгу, посвященную изображению современной испорченности и развращенности, занес много отвратительных картин, в которых обнаженный порок валяется в грязи во всем безобразии своего позора; но поэт с величайшим отвращением, с презрительным негодованием и с возвратом к Идеалу, чего часто не бывает у сатириков, стигматизирует и неизгладимо клеймит каленым железом все эти нездоровые тела, натертые мазями и свинцовыми белилами. Нигде жажда девственного и чистого воздуха, непорочной белизны снегов Гималаев, безоблачной лазури, неугасаемого света не проявляется с большим пылом, чем в этих произведениях, заклеянных безнравственными, как будто бичевание порока есть сам порок и как будто сам становится отравителем тот, кто опишет аптеку ядов дома Борджиа.

Этот способ не нов, но он всегда удавался, и некоторые люди делают вид, что верят, будто нельзя читать «Цветы зла» без стеклянной маски, какую носил Экзили, когда работал над своим знаменитым порошком наследственности. Я часто читал стихи Бодлера – и не упал замертво с искривленным лицом, с телом, покрытым черными пятнами, как будто после ужина с Ваночей в винограднике Папы Александра VI. Все эти нелепости, к несчастью вредные, потому что все глупцы принимают их с восторгом, заставляют художника, достойного этого имени, пожимать плечами от удивления, когда ему сообщают, что *синее* нравственно, а *красное* неприлично. Это – почти то же самое, что картофель добродетелен, а белена преступна.

Прелестное стихотворение о запахах разделяет их на классы, возбуждающие различные идеи, ощущения и воспоминания. Бывают запахи свежие, как тело ребенка, зеленые, как луга весной, бывают напоминающие розовую зарю и несущие с собой невинные мысли. Другие – подобные мускусу, амбре, бензою, ладану – великолепны, торжественны, светски, вызывают мысли о кокетстве, любви, роскоши, празднествах и блеске. Если их перенести в сферу цветов, они соответствуют золоту и пурпуру.

Поэт часто возвращается к этой мысли о значении запахов. Около дикой красавицы, капской синьоры или индийской баядерки, затерявшейся в Париже, имевшей, кажется, своей миссией усыпить его тоскливый сплин, он говорит о том смешанном запахе «мускуса и гаваны», который переносит его душу к берегам, любимым солнцем, где в теплом синем воздухе вырисовываются веером листья пальм, где мачты кораблей покачиваются от гармонической морской зыби, а молчаливые невольники стараются отвлечь молодого господина от его томительной меланхолии.

Далее, спрашивая себя, что останется от его произведений, он сравнивает себя со старым закупоренным флаконом, забытым среди паутины в каком-нибудь шкафу, в пустом доме. Из открытого шкафа вырывается вместе с затхлостью прошлого слабый запах платьев, кружев, пудрениц, который воскрешает воспоминания о минувшей любви, о былом изяществе; и если случайно откроют липкий и прогоркший флакончик, оттуда вырвется едкий запах английской соли и уксуса четырех разбойников, могучее противоядие современной заразе. Много раз вновь появляется этот интерес к благоуханиям, как тонкое облачко окружающим существа и предметы. У очень немногих поэтов найдем мы эту заботливость; они обычно довольствуются введением в свои стихи света, красок, музыки; но редко случается, чтобы они влили в них эту каплю тонкой эссенции, которой муза Бодлера никогда не упускает случая смочить губку своего флакона или батист платка.

Так как мы заговорили об исключительных вкусах и маленьких маниях поэта, то скажем, что он обожал кошек, подобно ему влюбленных в ароматы и приводимых запахом валерьяны в какую-то экстатическую эпилепсию. Он любил этих очаровательных животных, покойных, таинственных, мягких и кротких, с их электрическими вздрагиваниями, с их любимой позой сфинксов, которые, кажется, передали им свои тайны; они бродят по дому бархатными шагами,

как *genii loci* (гении места), или приходят, садятся на стол около писателя, думают вместе с ним и смотрят на него из глубины своих зрачков с золотистыми крапинками с какой-то разумной нежностью и таинственной пронизательностью. Они как бы угадывают мысль, спускающуюся из мозга на кончик пера и, протягивая лапку, хотят поймать ее на лету. Они любят тишину, порядок и спокойствие, и самое удобное место для них – кабинет писателя. Они с удивительным терпением ждут, чтобы он окончил свою работу, и все время испускают гортанное и ритмичное мурлыканье, точно аккомпанемент его работы. Иногда они приглаживают языком какое-нибудь взъерошенное местечко своего меха, потому что они опрятны, чистоплотны, кокетливы и не терпят никакого беспорядка в своем туалете, но все это они делают так скромно и спокойно, как будто опасаются развлечь его или помешать ему.

Ласки их нежны, деликатны, молчаливы, *женственны* и не имеют ничего общего с шумной и грубой резкостью, свойственной собакам, которым между тем выпала на долю вся симпатия толпы.

Все эти достоинства были оценены Бодлером, который не раз обращался к кошкам с прекрасными стихами – в «Цветах зла» их три, – где он воспевает их физические и моральные качества; и он часто их выводит в своих сочинениях как характерную подробность. Кошки изобилуют в стихах Бодлера, как собаки на картинах Паоло Веронезе, – и служат как бы его подписью. Надо также сказать, что у этих красивых животных, благоразумных днем, есть другая сторона – ночная, таинственная, кабалистическая, которая очень пленяла поэта. Кошка, со своими фосфорическими глазами, заменяющими ей фонари, с искрами, сверкающими из ее спины, без страха бродит в темноте, где встречает блуждающие призраки, колдуний, алхимиков, некромантов, вызывателей теней, любовников, мошенников, убийц, серые патрули и все эти темные лары, которые выходят и работают только по ночам. По ее виду кажется, что она знает самые последние новости шабаша и охотно трется о хромую ногу Мефистофеля. Ее серенады под балконом других кошек, ее любовные похождения по крышам, сопровождаемые криками, подобными крикам ребенка, которого душат, придают ей достаточно сатанинский вид, оправдывающий до известной степени отвращение дневных и практических умов, для которых тайны Эреба не имеют никакой привлекательности.

Но какой-нибудь доктор Фауст, в своей келье, заваленной старыми книгами и алхимическими инструментами, всегда предпочтет иметь товарищем кошку. Сам Бодлер был похож на кошку – чувственный, ласковый, с мягкими приемами, с таинственной походкой, полный силы при нежной гибкости, устремляющий на человека и на вещи взгляд, беспокойно светящийся, свободный, властный, который трудно было выдержать, но который без предательства, с верностью привязывался к тем, на кого хоть раз устремила его ' независимая симпатия.

Разные женские образы являются на фоне стихов Бодлера: одни, скрытые под покровами, другие полуобнаженные, но так, что им нельзя придать никакого имени. *Это скорее типы, чем личности.* Они представляют *вечно-женственное* начало, и любовь, которую выражает к ним поэт, есть *любовь вообще*, а не какая-нибудь одна любовь: мы видели, что в теории он не допускал индивидуальной страсти, находя ее слишком грубой, слишком фамильярной, слишком резкой. Одни из этих женщин символизируют бессознательную и почти животную проституцию, с их лицами, наштукатуренными румянами и свинцовыми белилами, с подрисованными глазами, накрашенными губами, подобными кровавым ранам, с шапками фальшивых волос и украшениями с сухим и жестким блеском; другие – более холодной, более опытной и более порочной развращенности, своего рода маркизы де Мертей XIX века, перемещают порок с тела в душу. Они высокомерны, холодны как лед, печальны, находят удовольствие только в удовлетворении злобности, неутомимы, как бесплодие, мрачны, как скука, полны истеричных и безумных фантазий и лишены, подобно Демону, способности любить.

Одаренные ужасающей красотой привидений, которую не оживляет пурпур жизни, они идут к своей цели бледные, бесчувственные, великолепно пресыщенные, по сердцам, которые они давят своими острыми каблучками. От этой-то любви, похожей на ненависть, от этих удовольствий, более гибельных, чем сражения, поэт обращается к тому смуглому идолу с экзотическим благоуханием, в дико-причудливом уборе, гибкому и ласковому, как черная яванская пан-

Шарль Бодлер

тера, который его успокаивает и вознаграждает за всех этих злых парижских кошек с острыми когтями, играющих с сердцем поэта, как с мышью. Но ни одному из этих созданий – гипсовому, мраморному или из черного дерева – не отдает он своей души. Над этой черной кучей зачумленных домов, над этим зараженным лабиринтом, где кружатся призраки удовольствия, над этим отвратительным кипением нищеты безобразия и пороков, далеко, очень далеко, в неизменной лазури плавает обожаемый призрак Беатриче, его Идеал; всегда желанный, никогда не достижимый, высшая и божественная красота, воплощенная в форме женщины эфирной, одухотворенной, сотканной из света, пламени, благоухания, – пар, мечта, отблеск благоуханного и серафического мира, подобно Лигейе, Морелле, Уне, Элеоноре Эдгара По, Серафите-Серафиту Бальзака, этому удивительному созданию. Из глубины своих падений, заблуждений и отчаяний к этому небесному образу, как к *Мадонне*, протягивает он руки с криком, слезами и с глубоким отвращением к самому себе. В часы любовной грусти с ней хотелось ему бежать навсегда и сокрыть свое полное блаженство в каком-нибудь таинственно-сказочном убежище или в идеально комфортабельном коттедже Гейнсборо, жилище Жерара Доу, или, еще лучше, в кружевном мраморном дворце Бенареса или Хайдерабада.

Никогда он не увидит иной подруги в своих мечтах. Следует ли видеть в этой Беатриче, в этой Лауре, не означаемой никаким именем, какую-нибудь девушку или молодую женщину, действительно существовавшую, страстно и религиозно любимую поэтом во время его пребывания в этом мире? Было бы романтично предполагать это, и нам не было дано достаточно глубоко проникнуть в интимную жизнь его сердца, чтобы ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос. В своем совершенно метафизическом разговоре Бодлер много говорил о своих мыслях, очень мало – о чувствах и никогда – о поступках. Что касается *Главы о любви* – он наложил в виде печати на свои тонкие и презрительные губы каменю с лицом Гарпократа. Всего вернее было видеть в этой идеальной любви только потребность души, порыв неутомимого сердца и вечную тоску несовершенного, стремящегося к безусловному.

В конце «Цветов зла» находится ряд стихов о *Вине* и разных видах опьянения, которое оно производит, смотря по тому, на чей мозг оно действует. Нечего и говорить, что здесь нет речи о вакхических песнях, прославляющих виноградный сок, и ни о чем подобном. Это – отвратительное и ужасное описание пьянства, но без нравов учений во вкусе Хогарта.

Картина не нуждается в легенде, и «Вино убийцы» заставляет содрогаться. «Литания Сатане», богу зла и князю мира – одна из тех холодных насмешек, свойственных автору, в которых напрасно было бы видеть кощунство. Кощунство не в природе Бодлера, верящего в высшую математику, установленную Богом от вечности, малейшее нарушение которой наказывается самыми жестокими карами не только в нашем, но и в ином мире. Если он изобразил порок и показал Сатану во всем его торжестве, то наверно без всякого снисхождения. Он даже преимущественно занимается Дьяволом, как искусителем, когти которого повсюду, как будто бы недостаточно прирожденной человеку порочности, чтобы толкнуть его на грех, на подлость, на преступление. У Бодлера грех всегда сопровождается укорами совести, пыткой, отвращением, отчаянием и наказывается сам собой, что и бывает худшей казнью. Но об этом довольно: мы пишем критический, а не теологический этюд.

Отметим среди стихов, составляющих «Цветы зла», некоторые из самых замечательных, и между ними – «Дон Жуан в аду». Эта картина, полная трагического величия, нарисована немногими мастерскими мазками на мрачном пламени адских сводов.

Похоронный челн скользит по черной воде, увозя Дон Жуана и кортеж его жертв. Нищий, которого он хотел заставить отречься от Бога, этот босяк-атлет, гордый и под своими лохмотьями, подобно Антисфену, гребет вместо старого Харона. На корме каменный человек, бесцветный призрак, неподвижным жестом статуи держит руль. Старый Дон Луис указывает на свои седины, осмеянные его предательски-кощунственным сыном. Станарель просит у своего господина, отныне не могущего платить, свое жалованье. Дона Эльвира старается вызвать прежнюю улыбку любовника на устах презрительного супруга, а бледные возлюбленные, измученные, покинутые, преданные, попираемые ногами, как вчерашние цветы, открывают ему вечно обливающиеся кровью раны своего сердца. В этом концерте слез, стенаний и проклятий Дон Жуан остается

бесчувственным; он сделал что хотел; пусть небо, ад и земля судят его как хотят, его *гордость не знает раскаяния*; гром может его убить, но не заставит его раскаяться.

Своей ясной грустью, своим светлым спокойствием и своим восточным кейфом стихи, озаглавленные «Прежняя жизнь», представляют собой счастливую противоположность мрачным картинам чудовищного современного Парижа и показывают, что у поэта на палитре рядом с тушью, смолой, мумией и другими мрачными красками имеется целая гамма оттенков свежих, легких, прозрачных, нежно-розовых, идеально-голубых, как дали Брейгеля Райского, способных передать елисейские пейзажи и миражи мечты.

Следует упомянуть, как об особенностях поэта, о чувстве *искусственного*. Под этим словом надо понимать творчество, исходящее всецело от Искусства с полным отсутствием Природы. В статье, написанной еще при жизни Бодлера, мы отметили эту странную склонность, поразительный пример которой мы видим в стихотворении, озаглавленном «Rêve parisien». Вот строки, пытающиеся передать этот пышный и черный кошмар, достойный мрачных гравюр Martynn: «Представьте себе сверхъестественный пейзаж или, скорее, перспективу, составленную из металла, мрамора и воды, откуда растительность изгнана, как нечто неправильное. Все строго, все гладко, все светится под небом без солнца, без луны, без звезд. Среди молчания вечности поднимаются освещенные собственным огнем дворцы, колоннады, башни, лестницы, водяные замки, откуда падают, как хрустальные занавеси, тяжелые водопады. Синие воды окружены, как сталь древних зеркал, набережными и бассейнами вороненого золота, где они молчаливо текут под мостами из драгоценных камней. Кристаллизованный луч служит оправой жидкостей, и порфиновые плиты террас, как зеркала, отражают предметы.

Царица Савская, проходя там, подняла бы свое платье, опасаясь намочить ноги, – так блещит их поверхность. Стиль этого стихотворения блещет, как черный полированный мрамор».

Не странная ли фантазия – это сочетание строгих элементов, в котором ничто не живет, не трепещет, не дышит, в котором ни былинка, ни цветок не нарушает неумолимой симметрии искусственных форм, измышленных искусством? Не кажется ли, что находишься в нетронутой Пальмире или Паленке, среди останков мертвой и покинутой атмосферой планеты?

Все это, без сомнения, образы причудливые, противоестественные, близкие к галлюцинации и выдающие тайное желание невозможного новшества; но мы, со своей стороны, предпочитаем их жидкой простоте мнимых поэтических произведений, в которых по канве избитых общих мест вышиваются старой вылинявшей шерстью узоры мешанской тривиальности и глупой сентиментальности: венки из крупных роз, листья зеленые, как капуста, целующиеся голубки. Иногда нам не страшно купить что-нибудь редкое ценой неловкости, фантастики и преувеличения.

Иногда дикое нам нравится больше, чем плоское. Бодлер имеет в наших глазах это преимущество; он может быть дурен, но никогда не может быть пошл. Его недостатки оригинальны, как и его достоинства, и даже там, где он не нравится, он делает это по своей воле, по законам особенной эстетики и в силу продолжительного размышления.

Кончим этот разбор, уже несколько затянувшийся, хотя и очень сокращаемый нами, несколькими словами по поводу стихотворения «Маленькие старушки», которое так поразило Виктора Гюго. Поэт, гуляя по улицам Парижа, видит старушек, бредущих скромной, печальной походкой, и он провожает их, как провожают красивых женщин, узнавая по старому изношенному кашемиру, тысячу раз заштопанному, выцветшему, бедно облакающему их тощие плечи, по кусочку распустившегося и пожелтевшего кружева, по кольцу – воспоминание, с трудом оспариваемое у ссудной кассы и готовое соскочить с исхудалого пальца бледной руки, – счастливое и изящное прошлое, жизнь, полную любви и преданности, может быть, следы былой красоты, еще ощутимой под развалинами убожества и опустошениями возраста. Он оживляет все эти дрожащие тени, он выпрямляет их, вновь облакает юношеским телом эти худые скелеты и воскрешает в этих бедных увядших сердцах прежние обольщения. Ничего не может быть смешнее этих Венер с кладбища Пер-Лашез и этих Нинон из «Пти Менаж», проходящих с жалким видом перед взорами вызвавшего их поэта, подобно процессиям теней, застигнутых светом.

Вопросы метрики, которыми пренебрегают все, кто лишен чувства формы, а таких очень

много в наше время, по справедливости считались Бодлером очень важными. Теперь нет ничего обычного, чем принимать *поэтическое за поэзию*. Эти вещи не имеют ничего общего. Фенелон, Ж. Ж. Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Шатобриан, Ж. Санд – поэтичны, но не поэты, т. е. они не имеют дара писать даже посредственные стихи, они лишены специального дарования, которым владеют люди менее даровитые, чем эти знаменитые писатели. Желание отделить стих от поэзии – современное безумие, которое ведет не к чему иному, как к уничтожению самого искусства. В превосходной статье Сент-Бёва о Тэне по поводу Попа и Буало, к которым автор «Истории английской литературы» относится презрительно, мы встречаем следующее место, очень сильное и справедливое, где вещам придано более правильное освещение, чем великим критиком, который в начале своей деятельности был великим поэтом и остался им навсегда. «Что касается Буало, то могу ли я принять странное суждение одного умного человека, презрительное мнение, которое Тэн, цитируя его, высказывает за свой счет, не боясь ответственности: „У Буало есть два сорта стихов: наиболее многочисленные кажутся стихами хорошего ученика III класса; менее многочисленные кажутся стихами хорошего ученика класса риторики“. Умный человек, говорящий таким образом (Ф. Гильом Гизо), не чувствует поэта в Буало; я иду далее: не должно никогда чувствовать поэта в поэте. Я понимаю, что нельзя всю поэзию сводить к простому ремеслу, но я не понимаю совершенно, каким образом, раз речь идет об искусстве, не придают никакого значения самому искусству и до такой степени обесценивают работников, достигших в нем совершенства. Уничтожьте разом всю поэзию в стихах, это будет более решительно; если вы этого не делаете, то отзываетесь с уважением о тех, кто *владел ее тайнами*. Буало принадлежал к этим немногим Поп – равным образом».

Невозможно сказать ни лучше, ни справедливее! Когда говорят о поэте, то внешняя форма его стихов – вещь важная и стоит изучения, ибо она составляет значительную часть их внутренней ценности. Это – та проба, которую он вычеканивает на своем золоте, серебре и меди. Стих Бодлера, принимая все важнейшие усовершенствования романтизма, каковы: богатая рифма, произвольная подвижность цезуры, *rejet*, *enjambement*, употребление технических терминов, строгий и полный ритм, непрерывный поток великого александрийского стиха, весь мудрый механизм просодии и строения станса и строфы – имеет тем не менее свою особенную архитектуру, свои индивидуальные формулы, структуру, по которой его можно узнать, свои тайны ремесла, свою печать, так сказать, и свою собственную марку «СВ» (*Charle Baudelaire*), которая всегда приложена к рифме или полустушию.

Бодлер часто употребляет 12- и 8-сложный стих. Это – та форма, в которую по преимуществу выливается его мысль. Стихотворения со сплошной рифмой у него менее многочисленны, чем разделенные на четырехстишия или стансы. Он любит гармоничное перекрещивание рифм, отдаляющее эхо у взятой ноты и дающее уху непредвиденный звук, который дополнится позднее, как и нота первого стиха, доставляя удовлетворение, которое в музыке достигается совершенным аккордом. Он всегда заботился, чтобы конечная рифма была полна, звучна и поддерживалась согласной, что создает вибрацию, удлиняющую последнюю ноту.

Среди его стихотворений встречается много таких, которые содержат внешнюю схему – как бы внешний рисунок – сонета, хотя он ни одного из них не назвал *сонетом*. Это, без сомнения, происходит от литературной щепетильности и от просодической совестливости; зарождение ее, как мне кажется, можно видеть в том примечании, где он рассказывает о своем посещении меня и о нашем разговоре. Читатель, вероятно, помнит, что Бодлер принес мне томик стихов двух отсутствующих друзей от их имени. В его рассказе мы находим следующие строки: «Быстро перелистав этот томик, он обратил внимание на то, что упомянутые поэты слишком часто позволяют себе *вольные* сонеты, т. е. не по правилам, охотно освобождая себя от закона четверной рифмы». В это время была уже составлена большая часть «Цветов зла», и в ней встречалось довольно много *вольных* сонетов, не только не имевших четверной рифмы, но даже таких, в которых рифмы переплетались совершенно неправильно: в ортодоксальном сонете, каковы сонеты Петрарки, Феликайи, Ронсара, Дю Белле, Сент-Бёва, среди четверостишия должны заключаться две однообразные рифмы – мужские или женские по выбору автора, – что и отличает четверостишие сонета от обычного четверостишия и определяет, смотря по тому, дает ли внешняя риф-

ма немое *e* или полный звук, ход и расположение рифмы в двух трехстишиях, заканчивающих сонет, менее трудный, чем думает Буало, и именно потому, что тут имеется геометрически-определенная форма; не так ли на лепных потолках многоугольники и причудливо очерченные части скорее облегчают, чем затрудняют живописца, определяя пространство, в которое должно заключить фигуры. Нередко случается, что благодаря ракурсу и искусному сведению линии удастся поместить гиганта в одно из узких отделений лепного потолка, и произведение выигрывает от подобной концентрации. Таким образом великая идея может свободно двигаться в этих четырнадцати стихах, методически-распределенных.

Молодая школа допускает множество вольных сонетов, и я должен сознаться, что это мне особенно неприятно. Зачем, если вы желаете быть свободным и по своему вкусу распределять рифмы, – зачем выбирать строгую форму, не допускающую никакого отступления, никакого каприза? Неправильность в правильном, недостаток соответствия в симметрическом – что же может быть нелепее и противоречивее? Всякое нарушение правила беспокоит нас, как сомнительная или фальшивая нота. Сонет – поэтическая fuga, тему которой надо переделывать, пока не получится должная форма. Следует безусловно подчиняться его законам или же, находя эти законы устаревшими, педантичными и стеснительными, совсем не писать сонетов.

Итальянцы и поэты плеяды могут в этом случае служить образцами; не бесполезно было бы прочесть книгу, в которой Уильям Коллег трактует о сонете *ex professo*¹. Можно сказать, что он исчерпал этот предмет. Но достаточно о вольных сонетах, которые пустил в ход первый Мейнар. Что касается других² сонетов, то это – только педантические упражнения, образчики которых можно видеть в Rabanus Maurus, в испанском и итальянском «Аполлоне» и в специальном трактате, написанном об этом предмете Антонио Темпо, и которых надо избегать, как трудностей совершенно ненужных, как китайской головоломки в поэзии.

Бодлер часто стремится к музыкальному эффекту при помощи одного или нескольких стихов особенно мелодичных, составляющих ригурнель и поочередно вновь появляющихся, как в итальянской строфе, называемой секстиной, удачные примеры которой дает в своих многочисленных стихах граф де Грамон. Он пользуется этой формой, смутно убаюкивающей, как волшебный напев, едва уловимый в полусне, для того чтобы передать грустные воспоминания и несчастную любовь. Стансы, звучащие однообразно, относят и опять приносят мысль, покачивая ее, подобно тому, как волны своими мерными завитками катят тонущий цветок, упавший с берега. Подобно Лонгфелло и Эдгару По, он употребляет часто аллитерацию, т. е. определенное повторение какой-нибудь согласной, для того чтобы произвести впечатление гармонии всем строением стиха. Сент-Бёв, которому известны все эти тонкости и который применяет их в своем изысканном искусстве, сказал когда-то в сонете мягкой, чисто итальянской нежности:

//*Sorrente m'a rendu mon doux rêve infini.*

Чуткое ухо понимает прелесть этой плавной грезы, повторенной четыре раза и как бы уносящей вас на своей волне в беспредельность, подобно тому, как перо чайки несется синей волной Неаполитанского залива.

Частые аллитерации встречаются и в прозе Бомарше, и скальды часто прибегали к ним. Эти тонкости, без сомнения, покажутся ничтожными утилитаристам, прогрессистам и практикам или просто рассудительным людям, которые думают, подобно Стендалю, что стих – ребяческая форма, годная для первобытных веков, и требуют, чтобы поэтические произведения писались прозой, как то приличествует рассудительной эпохе. Но эти подробности делают стихи хорошими или плохими и решают вопрос: поэт ли их автор или нет.

Многосложные, длинные слова очень нравятся Бодлеру, и из трех или четырех таких слов он часто составляет стихи, которые кажутся безмерными и вибрирующий звук которых замедляет ритм. Для поэта слова сами по себе помимо того смысла, который они выражают, обладают

¹ Профессионально (*лат.*).

² Sonnets doubles, rapportés, septenaires, à queue, estrambots, rétrogrades, par répétition, retournés, acrostiches, méso-stiches, en losange, en croix de S. Andé etc.

особенной, им лишь свойственной красотой и ценностью, как драгоценные камни, еще не отшлифованные и не оправленные в браслеты, ожерелья или кольца; они восхищают знатока, который их рассматривает и разбирает в маленьком сосуде, где они убраны, как это делает ювелир, оценивающий драгоценности. Есть и среди слов алмазы, сапфиры, рубины, изумруды и другие, светящиеся, как фосфор от трения, и немалого труда стоит их выбрать.

Эти великие александрийские стихи, о которых мы говорили выше, умирающие на морском берегу спокойной и глубокой зыбью волны, прибывшей из открытого моря, разбиваются иногда бешеной пеной и высоко взмывают свой белый дым на какой-нибудь дикий и угрюмый утес, чтобы опять рассыпаться затем горьким дождем. Стихи восьмисложные резки, сильны, отрывисты, как удары плеткой, они жестоко хлещут злую совесть и лицемерную условность.

Они годятся также и для передачи мрачных причуд; автор заключает в этот размер, как в рамку черного дерева, ночные виды кладбища, где во мраке сверкают видящие во тьме зрачки сов, а за зеленовато-бронзовой сетью тисовых деревьев скользят привидения, воры, опустошители могил и похитители трупов. Восьмисложными стихами он описывает также зловещие небеса, по которым катится над виселицами луна, больная от заклинаний Канидий; он описывает холодную скуку умершей, для которой ложе разврата заменил гроб и которая грезит в своем уединении, покинутая даже червями, содрогаясь от капель ледяного дождя, просачивающегося сквозь доски ее гроба, или показывает нам в многозначительном беспорядке увядшие букеты, старые письма, ленты и миниатюры рядом с пистолетами, кинжалами и флаконами лауданума, комнату жалкого влюбленного, которого во время его прогулок с презрением посещает насмешливый призрак самоубийства, потому что даже сама смерть не может его исцелить от его низкой страсти.

От формы стихов перейдем к канве стиля. Бодлер переплетает шелковые и золотые нити с жесткими и крепкими нитями пеньки, как в тех восточных тканях, в одно и то же время пышных и грубых, в которых самые нежные украшения с чарующей причудливостью разбегаются по грубой верблюжьей шерсти или по полотну, столь же жесткому на ошупь, как паруса барки. Самая кокетливая, даже самая драгоценная изысканность сталкивается с дикой похотью; и из полного опьяняющих ароматов и сладостно-томительных бесед будуара мы попадаем в грязный кабак, где пьяницы, мешая кровь с вином, ударами ножа оспаривают друг у друга какую-нибудь уличную Елену.

«Цветы зла» – лучший цветок в поэтическом венке Бодлера. В них прозвучала его оригинальная нота, и он доказал, что можно и после неисчислимого количества стихотворных томов, которые, кажется, исчерпывают самые разнообразные темы, выдвинуть на свет нечто новое и неожиданное, и для этого нет надобности отцеплять с неба солнце и звезды или развертывать всемирную историю, как на какой-нибудь немецкой фреске.

<...>

Кроме «Цветов зла», переводов из Эдгара По, «Искусственного рая», «Салонов» и критических статей, Шарль Бодлер оставил целую книгу маленьких поэм в прозе, помещавшихся в разное время в газетах и журналах, которым скоро наскучивали эти тончайшие шедевры, не интересовавшие вульгарного читателя; это принудило поэта, благородная настойчивость которого не шла ни на какую сделку, верить следующую серию их форме, более рискованной, но зато и более литературной. В первый раз эти вещи, разбросанные повсюду и почти безнадежно растерянные, были собраны в один том, который будет не последней заслугой поэта перед потомством.

В коротком предисловии, обращенном к А. Уссе, Бодлер говорит о том, как ему пришла мысль прибегнуть к этой форме, представляющей собой нечто среднее между стихами и прозой.

«Я хочу вам сделать маленькое признание. Перелистывая, по крайней мере, в двадцатый раз знаменитый цикл «Ночной Гаспар» Алоизия Бертрана (книга, известная вам, мне и некоторым из моих друзей, не имеет ли полного права быть названа знаменитой?), я задумал сделать попытку в подобном же роде и приложить к описанию современной жизни, или, если хотите, данной, современной и отвлеченной жизни способ, который он применил к изображению жизни древней, столь необычно красочной.

Кто из нас не мечтал в приливе честолюбия о чудесах поэтической прозы, музыкальной без

ритма и рифмы, достаточно гибкой и цепкой, чтобы приспособиться к изображению лирических движений души к переливам грез, к скачкам сознания?» Нечего говорить, что «Маленькие поэмы в прозе» совершенно не похожи на «Ночной Гаспар». Сам Бодлер заметил это тотчас же, как начал свою работу и отметил этот случай, которым всякий другой, может быть, возгордился бы, но который мог только глубоко огорчить ум, считавший высшей честью поэта выполнение именно того, что было предположено. Очевидно, Бодлер всегда желал волей направлять вдохновение и ввести в искусство нечто вроде непогрешимой математики. Он порицал себя за то, что произвел иное, чем предполагал, хотя бы это и было, как в данном случае, оригинальное и сильное произведение.

Наш поэтический язык, надо в этом признаться, несмотря на энергичные усилия новой школы сделать его более гибким и пластичным, совсем не годится для описания редких и случайных деталей, особенно когда речь идет о предметах современной жизни, как простой, так и пышной. Не боясь, как прежде, называть вещь ее собственным именем и не любя перифраз, французский стих отказывается, по самому своему строению, от выражения значительных особенностей, а если и пытается ввести их в свои узкие рамки, то скоро становится жестким, шероховатым и тяжелым. «Маленькие поэмы в прозе» очень кстати возместили этот пробел и при этом в такой форме, которая удовлетворяет условиям самого утонченного искусства и при которой каждое слово должно быть раньше взвешено на весах, более чувствительных, чем весы «Весовщика золота» Квинтена Мессейса, потому что оно должно иметь цену, вес и звук. Бодлер обнаружил целую новую сторону своего таланта – драгоценную, тонкую и причудливую. Он схватил и уловил нечто не поддающееся выражению, передал беглые оттенки, занимающие среднее место между звуком и цветом, мысли, похожие на мотивы арабесок или на темы музыкальных фраз. Не только физическая природа, но и самые тайные движения души, капризная меланхолия, галлюцинирующий сплин, полный неврозов, – прекрасно переданы этой формой. Автор «Цветов зла» извлек из нее поразительные эффекты, и иногда удивляешься, каким путем язык достигает той резкой ясности солнечного луча, который в голубой дали выделяет башни, развалины, группу деревьев, вершину горы, благодаря чему получают изображение предметы, отказывающиеся от всякого описания и до сих пор не разрешавшиеся словами. Едва ли не большая слава Бодлера в том, что он дал возможность ввести в речь целый ряд предметов, ощущений и эффектов, которым не дал названия Адам, великий номенклатор. Ни один писатель не может претендовать на большую честь, чем такое признание, а между тем тот, кто написал «Маленькие поэмы в прозе», бесспорно заслужил его.

Трудно, не располагая большим количеством места (а тогда лучше отослать читателя к самим произведениям), дать верное понятие об этих произведениях: картины, медальоны, барельефы, статуэтки, эмали, пастели, камеи следуют друг за другом, подобно позвонкам в хребте змеи; можно вынуть несколько звеньев, и куски опять соединяются и живут, так как все они имеют свою собственную душу и все одинаково судорожно тянутся к недостижимому идеалу.

Прежде чем закончить, как можно скорее, эту заметку, уже слишком разросшуюся, так как иначе мы не оставили бы места в этом томе поэту и другу, талант которого мы разбираем, и комментарии заглушили бы самое произведение, – надо ограничиться перечислением заглавий некоторых из «Маленьких поэм в прозе», превосходящих, по моему мнению, своей напряженностью, сосредоточенностью, глубиной и прелестью коротенькие фантазии «Ночного Гаспара», которыми Бодлер предполагал воспользоваться как образцами.

Из 50 стихотворений, составляющих сборник и совершенно различных по тону и форме, я отмечу: «Пирог», «Двойная комната», «Толпа», «Вдовы», «Старый паяц», «Полмира в волосах», «Приглашение к путешествию», «Прекрасная Доротея», «Геройская смерть», «Тирс», «Портреты любовниц», «Желание писать», «Породистая лошадь» и, особенно, «Дары луны», очаровательное произведение, в котором поэт с волшебной иллюзией изображает то, что совсем не удалось живописцу Милле в его «Бдении Св. Агнесы» – проникновение в комнату ночного светила с его фосфорическим голубоватым светом, с его радужным, сероватым перламутром, с его пронизанным лучами сумраком, в котором, как мотыльки, трепещут осколки серебра. С высоты своей облачной лестницы луна склоняется над колыбелью заснувшего ребенка, обливая его своим пол-

ным таинственной жизни светом и своим светящимся ядом; эту бледную головку она, как фея, осыпает своими странными дарами и шепчет ей на ухо: «Ты вечно останешься под влиянием моего поцелуя. Ты будешь прекрасна, как я. Ты будешь любить то, что меня любит и что я люблю: воду, облака, молчание, ночь, безграничное и зеленое море; воду, бесформенную и многообразную, страны, где ты не будешь, возлюбленного, которого ты не узнаешь, чудовищные цветы, потрясающие волю ароматы, кошек, замирающих на пианино и стонущих, как женщины, хриплым голосом».

Мы не знаем ничего равного этому восхитительному отрывку, кроме стихов *Li-tai-pè*, так хорошо переведенных Джудит Вальтер, в которых китайская императрица влачит складки своего белого атласного платья по малахитовой лестнице, осыпанной алмазными лучами луны. Только лунатик мог так понимать луну и ее таинственное очарование.

Слушая музыку Вебера, сначала испытываешь ощущение магнетического сна, что-то вроде успокоения, незаметно уносящего из действительной жизни; затем вдали вдруг зазвучит странная нота, заставляющая с беспокойством насторожиться. Эта нота подобна вздоху из волшебного мира, голосу невидимо зовущих духов. Оберон начинает трубить в свой рог, и открывается волшебный лес, уходящий в бесконечность голубоватыми аллеями, населенный всеми фантастическими существами, описанными Шекспиром в его «Сне в летнюю ночь», – и сама *Титания* появляется в прозрачном платье из серебряного газа.

Чтение «Маленьких поэм в прозе» часто производило на меня подобное же впечатление: одна фраза, одно-единственное слово, капризно выбранное и помещенное, вызывало целый неведомый мир забытых, но милых образов, оживляло воспоминания прежнего далекого существования и заставляло предчувствовать вокруг таинственный хор угасших идей, шепчущих вполголоса среди призраков беспрестанно отделяющихся от мира вещей. Другие фразы, болезненно-нежные, подобно музыке, шепчут утешения в невысказанных горестях и неизлечимом отчаянии; но надо быть осторожным: они могут вызвать в вас тоску по родине подобно тому, как пастуший рожок заставил бедного швейцарского ландскнехта из немецкого отряда в гарнизоне Страсбурга переплыть Рейн; он был пойман и расстрелян «за то, что слишком заслушался альпийского рожка».

20 февраля 1868 г.

Теофиль Готье

ЦВЕТЫ ЗЛА³

³ Замысел поэтического сборника возник у Бодлера в 1845 г. Первоначально он должен был называться «Лесбиянки», затем «Лимбы». Название «Цветы зла» было дано серии из восемнадцати стихотворений, опубликованной в 1855 г. в «Ревю де Де Монд».

Первое издание сборника готовилось полгода. В декабре 1856 г. был подписан контракт с издателем Пуле-Маласси, спустя несколько недель автор передал ему рукопись. Однако работа над текстом и составом не прекращалась. Бодлер вносил в гранки все новые и новые исправления. Сборник перебирался трижды. Издатель с печальной иронией писал, что «Цветы зла» выйдут из печати, «когда будет угодно Господу Богу и Бодлеру».

Тираж сборника составил 1100 экземпляров. Он поступил в продажу в конце июня 1857 г. Вскоре книга привлекла пристальное внимание Управления общественной безопасности; было составлено заключение о том, что «Цветы зла» бросают вызов религии и нравственности, а такие стихотворения, как «Отречение святого Петра», «Авель и Каин», «Литании Сатане», «Вино убийц», являются «сплошным богохульством». 17 июля генеральный прокурор дал согласие на возбуждение дела против Бодлера и издателей и потребовал конфисковать все нераспроданные экземпляры книги.

20 августа 1857 г. состоялось судебное заседание, и в тот же день был вынесен приговор по делу. Автор был признан виновным в нанесении оскорбления общественной морали и добропорядочным нравам. Поэта и издателей приговорили к крупному штрафу, а также постановили изъять из сборника шесть стихотворений («Украшения», «Лета», «Той, что была слишком весела», «Дельфина и Ипполита», «Лесбос», «Метаморфозы вампира»). Сборник в этом составе был впоследствии переведен на русский язык Эллисом (Л. Кобылинским). Этот вариант лег в основу настоящего издания. В русском тексте сохраняется орфография переводчика.

Второе издание «Цветов зла» было осуществлено в 1861 г., поэт включил туда 35 новых стихотворений. После смерти Ш. Бодлера его друзья в 1867 г. организовали третье издание.

*Непогрешимому поэту,
Всесильному чародею французской литературы,
Моему дорогому и уважаемому учителю и другу
ТЕОФИЛЮ ГОТЪЕ*

*Как выражение полного преклонения
Посвящаю эти БОЛЕЗНЕННЫЕ ЦВЕТЫ.*

Ш.Б.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Безумье, скарденность, и алчность, и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые, и жалят и язвят.

Упорен в нас порок, раскаянье – притворно;
За все сторицею себе воздать спеша,
Опять путем греха, смеясь, скользит душа,
Слезами трусости омыв свой путь позорный.

И Демон Трисмегист⁴, баюкая мечту,
На мягком ложе зла наш разум усыпляет;
Он волю, золото души, испепеляет,
И, как столбы паров, бросает в пустоту;

Сам Дьявол нас влечет сетями преступления
И, смело шествуя среди зловонной тьмы,
Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы
Без дрожи ужаса хватаем наслажденья;

Как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызет
В вертепе нищенском иной гуляка праздный,
Мы новых сладостей и новой тайны грязной
Ища, сжимаем плоть, как перезрелый плод;

У нас в мозгу кишит рой демонов безумный,
Как бесконечный клуб змеящихся червей;
Вдохнет ли воздух грудь – уж Смерть клокочет в ней,
Вливаясь в легкие струей незримо-шумной.

До сей поры кинжал, огонь и горький яд
Еще не вывели багрового узора;
Как по канве, по дням бессилья и позора,
Наш дух растлением до сей поры объят!

Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих,
Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей,

⁴ *Тризмегист* (др. греч. — трижды величайший) — одно из имен древнегреческого бога Гермеса, покровителя магии.

Средь хищных коршунов, в зверинце всех страстей,
Одно ужасней всех: в нем жестов нет грозящих,

Нет криков яростных, но странно слиты в нем
Все исступления, безумства, искушенья;
Оно весь мир отдаст; смеясь, на разрушение,
Оно поглотит мир одним своим зевком!

То – Скука! – Облаком своей houka⁵ одета,
Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.
Скажи, читатель лжец, мой брат и мой двойник,
Ты знал чудовище утонченное это?!

СПЛИН И ИДЕАЛ

I БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Лишь в мир тоскующий верховных сил веленьем
Явился вдруг поэт – не в силах слез унять,
С безумным ужасом, с мольбой, с богохуленьем
Простерла длани в высь его родная мать!

«Родила б лучше я гнездо ехидн⁶ презренных,
Чем это чудовище смешное... С этих пор
Я проклиная ночь, в огне страстей мгновенных
Во мне зачавшую возмездье за позор!

Лишь мне меж женами печаль и отвращенье
В того, кого люблю, дано судьбой вдохнуть;
О, почему в огонь не смею я швырнуть,
Как страстное письмо, свое же порожденье!

Но я отмщу за все: проклятия небес
Я обращаю на их орудие слепое;
Я искалечу ствол, чтобы на нем исчез
Бесследно мерзкий плод, источенный чумою!»

И не поняв того, что Высший Рок судил,
И пену ярости глотая в исступленье,
Мать обрекла себя на вечное сожженье –
Ей материнский грех костер соорудил!

⁵ Houka — модный в парижских литературных кругах середины XIX в. курительный прибор, разновидность кальяна, где дым пропускается через воду.

⁶ Ехидна — ядовитая змея.

А между тем дитя, резвяся, расцветает;
То – Ангел осенил дитя своим крылом:
Малютка нектар пьет, амброзию вкушает
И дышит солнечным живительным лучом;

Играет с ветерком, и с тучкой речь заводит,
И с песней по пути погибели идет,
И Ангел крестный путь за ним вослед проходит,
И, щебетание услыша, слезы льет.

Дитя! Повсюду ждет тебя одно страданье;
Все изменяет вокруг, все гибнет без следа,
И каждый, злобствуя на кроткое создание,
Пытает детский ум и сердце без стыда!

В твоё вино и хлеб они золу мешают
И бешеной слюной твои уста язвят;
Они всего тебя с насмешкою лишают
И даже самый след обходят и клеймят!

Смотри, и даже та, кого ты звал своею,
Средь уличной толпы кричит, над всем глумясь:
«Он пал передо мной, восторгом пламенея;
Над ним, как древний бог, я гордо вознеслась!»

Окутана волной божественных курений,
Я вознеслась над ним, в мольбе склоненным ниц;
Я жажду от него коленопреклонений
И требую, смеясь, я жертвенных кошниц⁷.

Когда ж прискучат мне безбожные забавы,
Я возложу, смеясь, к нему, на эту грудь
Длань страшной гарпии⁸: когтистый и кровавый
До сердца самого она проточит путь.

И сердце, полное последних трепетаний,
Как из гнезда – птенца, из груди вырву я,
И брошу прочь, смеясь, чтоб после истязаний
С ним поиграть могла и кошечка моя!»

Тогда в простор небес он длани простирает –
Туда, где Вечный Трон торжественно горит;
Он полчища врагов безумных презирает,
Лучами чистыми и яркими залит:

– «Благословен Господь, даруя нам страданья,
Что грешный дух влекут божественной стезей;

⁷ Кошница — корзина.

⁸ Гарпия — в греческой мифологии гарпии, полуженщины-полуптицы, считались злобными похитительницами детей и людских душ.

Восторг вкушаю я из чаши испытанья,
Как чистый ток вина для тех, кто тверд душой!

Я ведаю, в стране священных легионов,
В селеньях Праведных, где воздыханий нет,
На вечном празднике Небесных Сил и Тронов⁹,
Среди ликующих воссядет и поэт!

Страданье – путь один в обитель славы вечной,
Туда, где адских ков, земных скорбей конец;
Из всех веков и царств Вселенной бесконечной
Я для себя сплету мистический венец¹⁰!

Пред тем венцом – ничто и блеск камней Пальмиры¹¹,
И блеск еще никем не виданных камней,
Пред тем венцом – ничто и перлы, и сапфиры,
Творец, твоей рукой встревоженных морей.

И будет он сплетен из чистого сиянья
Святого очага, горящего в веках,
И смертных всех очей неверное мерцанье
Померкнет перед ним, как отблеск в зеркалах!»

II АЛЬБАТРОС

Чтоб позабавиться в скитаниях унылых,
Скользя над безднами морей, где горечь слез,
Матросы ловят птиц морских ширококрылых,
Их вечных спутников, чье имя альбатрос.

Тогда, на палубе распластанный позорно,
Лазури гордый царь два белые крыла
Влачит беспомощно, неловко и покорно,
Как будто на мели огромных два весла.

Как жалок ты теперь, о странник окрыленный!
Прекрасный – миг назад, ты гадок и смешон!
Тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный;
Другой смешит толпу: как ты, хромает он.

⁹ *Небесных Сил и Тронов* — Имеется в виду иерархическая структура ангельского мира, в соответствии с христианским учением разделяемого на девять чинов: Престолы, Серафимы, Херувимы; Господства, Силы, Власти; Начала, Архангелы, Ангелы.

¹⁰ *Мистический венец* — воздаяние, которое на Небесах даруется мученикам, умершим за веру.

¹¹ *Пальмира* — разрушенный римлянами в III в. н. э. город, бывший столицей могущественного царства.

Поэт, вот образ твой!.. ты – царь за облаками;
Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! –
Простертый на земле, освищенный шутами,
Ты исполинских крыл своих не развернешь!

III ПОЛЕТ

Высо́ко над водой, высоко́ над лугами,
Горами, тучами и волнами морей,
Над горней сферой звезд и солнечных лучей
Мой дух, эфирных волн не скован берегами, –

Как обмирающий на гребнях волн пловец,
Мой дух возносится к мирам необозримым;
Восторгом схваченный ничем не выразимым,
Безбрежность бороздит он из конца в конец!

Покинь земной туман нечистый, ядовитый;
Эфиром горних стран очищен и согрет,
Как нектар огненный, впивай небесный свет,
В пространствах без конца таинственно разлитый.

Отягощенную туманом бытия,
Страну уныния и скорби необъятной
Покинь, чтоб взмахом крыл умчаться безвозвратно
В поля блаженные, в небесные края!..

Блажен лишь тот, чья мысль, окрылена зарею,
Свободной птицею стремится в небеса, –
Кто внял цветов и трав немые голоса,
Чей дух возносится высоко над землею!

IV СООТВЕТСТВИЯ

Природа – строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкой уронит;
Лесами символов бредет, в их чашах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.

Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания, и звуки, и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.

Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,
Как тело детское, высокий звук гобоя;
И есть торжественный, развратный аромат –

Слиянье ладана и амбры и бензоя:¹²
В нем бесконечное доступно вдруг для нас,
В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!

V

Я полюбил нагих веков воспоминанья:
Феб¹³ золотил тогда улыбкой изваянья;
Тогда любовники, и дерзки и легки,
Вкушали радости без лжи и без тоски;
Влюбленные лучи им согревали спины,
Вдохнув здоровый дух в искусные машины,
И плодоносная Кибела¹⁴ без числа
Своим возлюбленным сынам дары несла;
Волчица с нежностью заботливо-покорной
Пьянила целый мир своею грудью черной;
Прекрасный, дерзостный и мощный человек
Был признанным царем всего, что создал век, –
Царем невинных дев, рожденных для лобзанья,
Плодов нетронутых, не знавших увяданья!..

Поэт! Когда твой взор захочет встретить вновь
Любовь нагой четы, свободную любовь
Первоначальных дней, перед смятенным взором,
Холодным ужасом, чудовищным позором
Пронизывая грудь, возникнет пред тобой
Уродство жалкое, омытое слезой...
О дряблость тощих тел без формы, жизни, красок!
О торсы жалкие, достойные лишь масок!..
Вас с детства Пользы бог, как в латы, заковал
В пеленки медные, – согнул и изломал;
Смотрите: ваших жен, как воск, бледны ланиты;
Все ваши девушки пороками повиты:
Болезни и разврат отцов и матерей
У колыбели ждут невинных дочерей!

¹² *Слиянье ладана и амбры и бензоя* — сочетание сильнодействующих ароматических веществ природного происхождения (в оригинале вместо ладана — musc, мускус).

¹³ *Феб* — Аполлон.

¹⁴ *Кибела* — богиня плодородия, Великая Мать всего живущего, малоазиатская (фригийская) богиня, отождествлявшаяся с Реей и Деметрой.

Мы, извращенные, мы, поздние народы,
Ждем красоты иной, чем в девственные годы:
Пленяют нас тоской изрытые черты,
Печаль красивая и яд больной мечты.
Но музы поздние народов одряхлелых
Шлют резвой юности привет в напевах смелых:
– О Юность чистая, святая навсегда!
Твой взор прозрачнее, чем светлая вода;
Ты оживляешь все в тревоге беззаботной;
Ты – синий небосвод, хор птичек перелетный;
Ты сочетаешь звук веселых голосов,
И ласки жаркие, и аромат цветов!

VI МАЯКИ

О Рубенс, лени сад, покой реки забвенья!
Ты – изголовие у ложа без страстей,
Но где немолчно жизнь кипит, где все – движенье,
Как в небе ветерок, как море меж морей!

О Винчи, зеркало с неясной глубиной,
Где сонмы ангелов с улыбкой на устах
И тайной на челе витают, где стеною
Воздвиглись горы льдов с лесами на хребтах;

О Рембрандт, грустная, угрюмая больница
С Распятьем посреди, где внятен вздох больных,
Где брезжит зимняя, неверная денница,
Где гимн молитвенный среди проклятий стих!

Анджело, странный мир: Христы и Геркулесы¹⁵
Здесь перемешаны; здесь привидений круг,
Лишь мир окутают вечерней тьмы завесы,
Срывая саваны, к нам тянет кисти рук.

Пюже¹⁶, печальный царь навеки осужденных,
Одевший красотой уродство и позор,
Надменный дух, ланит поблеклость изможденных,
То сладострастный фавн, то яростный боксер;

Ватто! О карнавал, где много знаменитых
Сердец, как бабочки, порхают и горят,

¹⁵ *Анджело, странный мир: Христы и Геркулесы...* — Речь идет об образах фрески «Страшный суд» Сикстинской капеллы, сделанных Микеланджело, где изображение библейских персонажей дается в античных традициях, в частности Христос предстает в облике могучего исполина.

¹⁶ *Пюже* Пьер (1620–1694) — французский скульптор эпохи Барокко.

Где блещет шумный вихрь безумий, с люстр излитых,
И где орнаментов расцвел нарядный ряд!

О Гойя, злой кошмар¹⁷, весь полный тайн бездонных,
Проклятых шабашей, зародышей в котлах,
Старух пред зеркалом, малюток обнаженных,
Где даже демонов волнует страсть и страх;

Делакруа, затон кровавый, где витает
Рой падших Ангелов; чтоб вечно зеленеть,
Там лес тенистых пихт чудесно вырастает;
Там, как у Вебера¹⁸, звучит глухая медь;

Все эти жалобы, экстазы, взрывы смеха,
Богохуления, *Te Deum*¹⁹, реки слез,
То – лабиринтами умноженное эхо,
Блаженный опиум, восторг небесных грез!

То – часового крик, отсюда повторенный,
Команда рупоров, ответный дружный рев,
Маяк, на тысячах высот воспламененный,
Призыв охотника из глубины лесов!

Творец! вот лучшее от века указанье,
Что в нас святой огонь не может не гореть,
Что наше горькое, безумное рыданье
У брега вечности лишь может замереть!

VII БОЛЬНАЯ МУЗА

О муза бедная! В рассветной, тусклой мгле
В твоих зрачках кишат полночные виденья;
Безгласность ужаса, безумий дуновенья
Свой след означили на мертвенном челе.

Иль розовый лютен²⁰, суккуб²¹ зеленоватый

¹⁷ *О Гойя, злой кошмар...* — Поэт ссылается на цикл офортов Гойи «Каприччос».

¹⁸ *Вебер* Карл Мария (1786–1826) — немецкий композитор-романтик. В партитурах его опер, в особенности в «Обероне», блестяще представлены тембры медных и деревянных духовых инструментов, звучание которых в этой музыке связано с фантастическими образами леса.

¹⁹ *Te Deum* — первоначально католический гимн на текст амвросианского хвалебного песнопения («*Te Deum laudamus*»), впоследствии произведение торжественного характера для хора и оркестра.

²⁰ *Лютен* (фр. *Lutin*) — домовый.

²¹ *Суккуб* (суккуба) — демон-искуситель, принимавший обличье женщины.

Излили в грудь твою и страсть и страх из урн?
Иль мощною рукой в таинственный Минтурн²²
Насильно погрузил твой дух кошмар проклятый?

Пускай же грудь твоя питает мыслей рой,
Здоровья аромат вдыхая в упоенье;
Пусть кровь твоя бежит ритмической струей,

Как метров эллинских стозвучное течение,
Где царствует то Феб, владыка песнопенья,
То сам великий Пан²³, владыка нив святой.

VIII ПРОДАЖНАЯ МУЗА

О муза нищая, влюбленная в чертоги!
Когда Январь опять освободит Борей²⁴,
В те черные часы безрадостных ночей
Чем посиневшие свои согреешь ноги?

Ведь мрамор плеч твоих опять не оживет
От света позднего, что бросит ставень тесный;
В твой кошелек пустой и в твой чертог чудесный
Не бросит золота лазурный небосвод!

За хлеб насущный свой ты петь должна – и пой
Te Deum; так дитя, не веря в гимн святой,
Поет, на блеск святых камильниц улыбаясь.

Нет... лучше, как паяц, себя толпе отдай
И смейся, тайными слезами обливаясь,
И печень жирную у черни услаждай.

IX ПЛОХОЙ МОНАХ

На каменных стенах святых монастырей
В картинах Истину монахи раскрывали;
Святые символы любовью согревали

²² *Минтурн* — болотистая местность к югу от Рима.

²³ *Пан* — в греческой мифологии бог-покровитель лесов, стад.

²⁴ *Борей* — в греческой мифологии бог северного ветра и сам этот ветер.

Сердца, остывшие у строгих алтарей.

В наш век забытые, великие аскеты
В века, цветущие посевами Христа,
Сокрыли в склепный мрак священные обеты
И прославляли Смерть их строгие уста!

– Монах отверженный, в своей душе, как в склепе,
От века я один скитаньям обречен,
Встречая пустоту и мрак со всех сторон;

О нерадивый дух! – воспрянь, расторгни цепи,
Презри бессилие, унынье и позор;
Трудись без усталости, зажги любовью взор.

Х ВРАГ

Моя весна была зловещим ураганом,
Пронзенным кое-где сверкающим лучом;
В саду разрушенном не быть плодам румяным –
В нем льет осенний дождь и не смолкает гром.

Душа исполнена осенних созерцаний;
Лопатой, граблями я, не жалея сил,
Спешу собрать земли размоченные ткани,
Где воды жадные изрыли ряд могил.

О новые цветы, невиданные грезы,
В земле размоченной и рыхлой, как песок,
Вам не дано впитать животворящий сок!

Все внятней Времени смертельные угрозы:
О горе! впившись в грудь, вливая в сердце мрак,
Высасывая кровь, растет и крепнет Враг.

ХІ НЕУДАЧА

О если б в грудь мою проник,
Сизиф²⁵, твой дух в работе смелый,
Я б труд свершил рукой умелой!
Искусство – вечность, Время – миг.²⁶

²⁵ Сизиф — персонаж древнегреческого мифа, волей богов обреченный на совершение бессмысленной работы.

К гробам покинутым, печальным,
Гробниц великих бросив стан,
Мой дух, гремя как барабан,
Несется с маршем погребальным.

Вдали от лота и лопат,
В холодном сумраке забвенья
Сокровищ чудных груды спят;

В глухом безлюдьи льют растенья
Томительный, как сожаленья,
Как тайна сладкий, аромат.

ХII ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ

Я прожил много лет средь портиков широких,
Что в бликах солнечных торжественно горят;
Как в сумраке пещер базальтовых, глубоких,
Я полюбил бродить под сенью колоннад.

Волной колышима, лазурь небес далеких
И догорающий в моих зрачках закат,
И полнозвучный рев и звон валов высоких
Одной гармонией ласкали слух и взгляд.

Я прожил много лет, покоем восхищенный,
Среди лазури волн и пышной красоты,
С толпой моих рабов, нагой и умощенной;

Зной охлаждающих широких пальм листы
Заботливо рабы над головой качали,
Но тайных ран души, увы, не облегчали.

ХIII ЦЫГАНЕ В ПУТИ

Пророческий народ с блестящими зрачками
В путь дальний тронулся, влача своих детей
На спинах, у сосцов отвиснувших грудей,
Питая алчность губ роскошными дарами;

²⁶ *Искусство — вечность. Время — миг.* — Здесь перефразируется известное латинское изречение «Ars longa vita brevis» («Жизнь коротка, искусство вечно»).

Вслед за кибитками, тяжелыми возами,
Блестя оружием, бредет толпа мужей,
Грустя о призраках первоначальных дней,
Блуждая в небесах усталыми глазами.

Навстречу им сверчок, заслышав шум шагов,
Заводит песнь свою из чаши запыленной;
Кибела стелет им живой ковер цветов,

Струит из скал ручей в пустыне раскаленной,
И тем, чей взор проник во мглу грядущих дней,
Готовит пышный кров средь пыли и камней.

XIV ЧЕЛОВЕК И МОРЕ

Свободный человек, от века полюбил
Ты океан – двойник твоей души мятежной;
В разбеге вечном волн он, как и ты, безбрежный,
Всю бездну горьких дум чудесно отразил.

Ты рвешься ринуться туда; отваги полн,
Чтоб заключить простор холодных вод в объятия,
Развеять скорбь души под гордый ропот волн,
Сливая с ревом вод безумные проклятья.

Вы оба сумрачны, зловеще-молчаливы.
Кто, человек, твои изведает глубины?
Кто скажет, океан, куда погребены
Твои несметные богатства, страж ревнивый?

И, бездны долгих лет сражаясь без конца,
Не зная жалости, пощады, угрызений,
Вы смерти жаждете, вы жаждете сражений,
Два брата страшные, два вечные борца!

XV ДОН ЖУАН²⁷ В АДУ

Вот к подземной волне он, смеясь, подступает.

²⁷ *Дон Жуан* — персонаж средневековой испанской легенды, неоднократно послужившей основой самых различных произведений. Достаточно назвать комедию Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость», оперу Моцарта или же картину Э.Делакруа «Данте и Вергилий в аду».

Вот бесстрашно обол свой Харону швырнул;²⁸
Страшный нищий в лицо ему дерзко взглянул
И весло за веслом у него вырывает.

И, отвислые груди свои обнажив,
Словно стадо загубленных жертв, за кормою
Сонмы женщин мнутуются, весь берег покрыв;
Вторят черные своды протяжному вою.

Сганарелло²⁹ твердит об уплате долгов,
Дон Луис³⁰ указывает рукой ослабелой
Смельчака, осквернившего лоб его белый,
Мертвецам, что блуждают у тех берегов.

Снова тень непорочной Эльвиры³¹ склонилась
Пред изменником, полная тихой мольбой,
Чтобы вновь сладость первых речей засветилась,
Чтоб ее подарил он улыбкой одной.

У руля, весь окован железной броней,
Исполин³² возвышается черной горой,
Но, на шпагу свою опершись рукою,
За волною следит равнодушно герой.

XVI НАКАЗАНИЕ ГОРДОСТИ³³

В век Теологии, когда она выросла,
Как сеть цветущая, и землю оплела
(Гласит предание), жил доктор знаменитый.
Он свет угаснувший, в бездонной тьме сокрытый,
На дне погибших душ чудесно вновь зажег,
И горний путь пред ним таинственно пролег,
Путь райских радостей и почестей небесных
В обитель чистых душ и духов бестелесных.

²⁸ ...обол свой Харону швырнул... — В греческой мифологии Харон, перевозивший мертвых в Аид, получал в уплату мелкую монету (по традиции обол клали усопшим под язык).

²⁹ Сганарелло (Сганарель) — слуга Дон Жуана.

³⁰ Дон Луис — отец Дон Жуана.

³¹ Донна Эльвира — жена Дон Жуана, оставленная им спустя несколько дней после свадьбы.

³² Исполин — статуя Командора.

³³ Стихотворение навеяно средневековым преданием о проповеднике Симоне де Турнэ, изложенном в трехтомном трактате К. Удена. Во время публичной проповеди каноник, трактующий о таинствах Святой Троицы, пришел в такой восторг от собственного красноречия, что утратил дар речи и рассудок.

Но высота небес для гордых душ страшна,
И в душу гордую вселился Сатана:
«Иисус, – вскричал мудрец, – ты мною возвеличен,
И мною ж будешь ты низвергнут, обезличен:
С твоею славою ты свой сравнишь стыд, –
Как вид зародыша, смешон твой станет вид!»

Вскричал – и в тот же миг сломился дух упорный,
И солнца светлый лик вдруг креп задернул черный,
И вдруг в его мозгу хаос заклокотал;
Затих померкший храм, где некогда блистал
Торжественный обряд святых великолепий;
Теперь все тихо в нем, навек замкнутом склепе.
И он с тех пор везде блуждает, словно пес;
Не видя ничего вокруг, слепой от слез,
Блуждая по лугам, навек лишенный света,
Не отличает он в бреду зимы от лета,
Ненужный никому и мерзостный для всех,
У злых детей одних будя веселый смех.

XVII КРАСОТА

Вся, как каменная греза, я бессмертна, я прекрасна,
Чтоб о каменные груди ты расшибся, человек;
Страсть, что я внушу поэту, как материя, безгласна
И ничем неистребима, как материя, вовек.

Я, как сфинкс, царю в лазури, выше всякого познания,
С лебединой белизною сочетаю холод льда;
Я недвижна, я отвергла беглых линий трепетанье,
Никогда не знаю смеха и не плачу никогда!

Эти позы, эти жесты у надменных изваяний
Мною созданы, чтоб душу вы, поэты, до конца
Расточили, изнемогши от упорных созерцаний;

Я колдую, я чарую мне покорные сердца
Этим взором глаз широких, светом вечными зеркальным,
Где предметы отразились очертаньем идеальным!

XVIII ИДЕАЛ

Не вам, утонченно-изящные виньеты,

Созданье хрупкое изнеженных веков,
Ботфорты тощих ног, рук хрупких кастаньеты,
Не вам спасти мой дух, что рвется из оков;

Пусть Гаварни³⁴ всю жизнь поет свои хлорозы³⁵ —
Когда б за ним их хор послушный воспевал
Меж вами, бледные и мертвенные розы,
Мне не дано взрастить мой красный идеал.

Как черной пропасти, моей душе глубокой
Желанна навсегда, о леди Макбет, ты,
И вы, возросшие давно, в стране далекой

Эсхила страшного преступные мечты,
И ты, Ночь Анджели³⁶, что не тревожишь стана,
Сосцы роскошные отдав устам Титана³⁷!

XIX ВЕЛИКАНША

В века, когда, горя огнем, Природы грудь
Детей чудовищных рождала сонм несчетный,
Жить с великаншею я стал бы, беззаботный,
И к ней, как страстный кот к ногам царевны, льнуть.

Я б созерцал восторг ее забав ужасных,
Ее расцветший дух, ее возросший стан,
В ее немых глазах блуждающий туман
И пламя темное восторгов сладострастных.

Я стал бы бешено карабкаться по ней,
Взбираться на ее громадные колени;
Когда же в жалящей истоме летних дней

Она ложилась бы в полях под властью лени,
Я мирно стал бы спать в тени ее грудей,
Как у подошвы гор спят хижины селений.

³⁴ *Гаварни* Поль (наст. имя С. Г. Шевалье; 1804–1866) — французский художник-карикатурист. Бодлер писал о нем в своей статье «О некоторых французских карикатуристах», впрочем, сам он предпочитал О. Домье.

³⁵ *Хлорозы* — болезненная анемия, для этого заболевания характерна чрезвычайная бледность.

³⁶ *Ночь Анджели* — мраморная статуя, изваянная Микеланджело для гробницы Дж. Медичи (Флоренция).

³⁷ *Титан* — в греческой мифологии один из сыновей Урана и Реи.

XX
МАСКА

Эрнесту Кристофу³⁸, ваятелю

АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ СТАТУЯ ВО ВКУСЕ РЕНЕССАНСА

Вот чудо грации, Флоренции создание;
В него восторженно вперяй покорный взор;
В изгибах мускулов и в складок очертанье –
Избыток Прелести и Мощи, двух сестер;
Обожествленная резцом волшебным глыба
Предстала Женщиной, могуча и нежна,
Для ложа пышного царицей создана;
Ее лобзания пленить равно могли бы
И принца и жреца на ложе нег и сна.
С усмешкой тонкою, с улыбкой вожделенной,
Где бродит гордости сверкающий экстаз,
Победоносная, она глядит на нас –
И бледный лик ее, презреньем вдохновленный,
Со всех сторон живет и обрамляет газ.
«Страсть призвала меня, меня Любовь венчает!»
В ней все – величие, и все прекрасно в ней;
Пред чарами ее, волнуясь, цепеней!
Но чудо страшное нежданно взор встречает:
Вдруг тело женщины, где чары божества,
Где обещает все восторг и изумленье –
О чудо мерзкое, позор богохуленья! –
Венчает страшная, двойная голова!
Ее прекрасный лик с гримасою красивой –
Лишь маска внешняя, обманчивый наряд,
И настоящий лик сквозь этот облик лживый
Бросает яростно неотразимый взгляд.
О Красота! клянусь, – река твоих рыданий,
Бурля, вливается в большую грудь мою;
Меня пьянит поток обманов и страданий,
Я из твоих очей струи забвенья пью!

– О чем ее печаль? Пред ней все страны света
Повержены во прах; увы, какое зло
Ее, великую, насквозь пронзить могло –
Ее, чья грудь крепка, сильна, как грудь атлета?

– Ее печаль о том, что многие года
Ей было жить дано, что жить ей должно ныне,
Но, что всего страшней, во мгле ее уныний,
Как нам, ей суждено жить завтра, жить всегда!

³⁸ Кристоф Эрнест (1827–1892) — французский скульптор, чья статуя «Маска», первоначально названная «Человеческая комедия», описывается Бодлером в статье «Салон 1859 года».

XXI ГИМН КРАСОТЕ

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.

Заря и гаснувший закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.

Прислал ли ад тебя, иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе – восторг, и все в тебе преступно!

С усмешкой гордою идешь по трупам ты,
Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,
Ты носишь с гордостью преступные мечты
На животе своем, как звонкие брелоки.

Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,
Летит к тебе – горит, тебя благословляя;
Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,
Как с гробом бледный труп, сливается, сгнивая.

Будь ты дитя небес иль порожденье ада,
Будь ты чудовище иль чистая мечта,
В тебе безвестная, ужасная отрада!
Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.

Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!

XXII ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ³⁹

³⁹ Стихотворение открывает цикл, посвященный Жанне Дюваль (XXII–XXXIX). Мулатка, дама полусвета, она в течение двух десятилетий была возлюбленной поэта.

Когда, смежив глаза, на грудь твою склоненный,
Твой знойный аромат впиваю жадно я,
Мне снова грезятся блаженные края:
Вот – монотонными лучами ослепленный,

Спит остров, в полусон лениво погруженный, –
Дерев причудливо сплетенная семья,
Где крепнет строй мужей, избыток сил струя,
Где взоры смелых жен я вижу, изумленный.

Мой дух уносит твой волшебный аромат
Туда, где мачт леса валов колышет ряд,
Изнемогающий от качки беспокойной,

Где тамаринд⁴⁰ струит далеко запах свой,
Где он разносится пьянящею волной
И сочетается с напевом песни стройной.

XXIII ШЕВЕЛЮРА

О, завитое в пышные букли руно!
Аромат, отягченный волною истомы,
Напоет альков, где тепло и темно;
Я мечты пробуждаю от сладостной дремы,
Как платок надушенный взбивая руно!..

Нега Азии томной и Африки зной,
Мир далекий, отшедший, о лес благовонный,
Возникает над черной твоей глубиной!
Я парю, ароматом твоим опьяненный,
Как другие сердца музыкальной волной!

Я лечу в те края, где от зноя безмолвны
Люди, полные соков, где жгут небеса;
Пусть меня унесут эти косы, как волны!
Я в тебе, море черное, грезами полный,
Вижу длинные мачты, огни, паруса;

Там свой дух напою я прохладной волною
Ароматов, напевов и ярких цветов;
Там скользят корабли золотою стезею,
Раскрывая объятия для радостных снов,
Отдаваясь небесному, вечному зною.

Я склонюсь опьяненной, влюбленной главой

⁴⁰ Тамаринд — тропическое дерево высотой 20–25 м, цветам которого присущ сильный пряный аромат.

К волнам черного моря, где скрыто другое,
Убаюканный качкою береговой;
В лень обильную сердце вернется больное,
В колыхание нег, в благовонный покой!

Вы лазурны, как свод высоко-округленный,
Вы – шатер далеко протянувшейся мглы;
На пушистых концах пряди с прядью сплетенной
Жадно пьет, словно влагу, мой дух опьяненный
Запах муска, кокоса и жаркой смолы.

В эти косы тяжелые буду я вечно
Рассыпать бриллиантов сверкающий свет,
Чтоб, ответив на каждый порыв быстротечный,
Ты была как оазис в степи бесконечной,
Чтобы волны бывшего поили мой бред.

XXIV

Тебя, как свод ночной, безумно я люблю,
Тебя, великую молчальницу мою!
Ты – урна горести; ты сердце услаждаешь,
Когда насмешливо меня вдруг покидаешь,
И недоступнее мне кажется в тот миг
Бездонная лазурь, краса ночей моих!

Я как на приступ рвусь тогда к тебе, бессильный,
Ползу, как клуб червей, почуя труп могильный.
Как ты, холодная, желанна мне! Поверь, –
Неумолимая, как беспощадный зверь!

XXV

Ожесточенная от скуки злых оков,
Ты всю вселенную вместила б в свой альков;
Отточенных зубов влекома хищной жаждой,
Ты жертву новую на день готовишь каждый.
Твои глаза блестят, как в праздничные дни
На окнах лавочек зажженные огни;
Их блеск – заемный блеск, их власть всегда случайна,
Их красота – тебе неведомая тайна!

Машина мертвая, ты жажду утолишь
Лишь кровью мировой, но мир лишь ты целишь;
Скажи, ужель тебе неведом стыд, ужели
Красоты в зеркалах твои не побледнели?

Иль зла бездонности не видит мудрый взгляд,
И, ужаснувшись, ты не пятишься назад?
Или таинственным намереньем Природы
Твои, о женщина, благословятся роды,
И от тебя в наш мир, прославив грешный род –
Кошунство высшее! – сам гений снизойдет!

XXVI
SED NON SATIATA⁴¹

О странный идол мой, чьи кудри – сумрак ночи;
Сливая дым сигар и муска аромат,
Бедром эбеновым ты мой чаруешь взгляд,
Саванны Фауст ты, дочь черной полуночи!

Душе желаннее, чем опиум, мрак ночи,
Губ милых эликсир, любви смертельный яд;
Пусть караваны грез сзовет твой властный взгляд,
Пусть напоят тоску твои цистерны-очи.

О демон яростный! Зрачками черных глаз
Не изливай мне в грудь своих огней без меры!
Мне не дано обнять, как Стиксу, девять раз⁴²

Тебя, развратница, смирить твой пыл Мегеры⁴³,
Безумье дерзкое бесстрашно обретать
И Прозерпиною⁴⁴ на ложе адском стать!

XXVII

Когда она идет, роняя блеск огней
Одеждой радужной, сбегаящей волнами,
Вдруг вспоминается мне пляска длинных змей
На остриях жезлов, протянутых волхвами.

⁴¹ «*Sed non satiata*» — название стихотворения восходит к одной из сатир Ювенала в адрес «августейшей блудницы» императрицы Мессалины (48–15 гг. до н. э.), после бурной ночи уходившей «утомленной, но не насытившейся».

⁴² *Мне не дано обнять, как Стиксу, девять раз...* — По преданию, река Стикс девятерным кольцом окружала Аид.

⁴³ *Мегера* — в греческой мифологии одна из трех эриний, богинь мщения.

⁴⁴ *Прозерпина* — в римской мифологии дочь богини плодородия Цереры, супруга бога подземного царства Плутона.

Как горькие пески, как небеса степей,
Всегда бесчувственны к страданиям и прекрасны,
Как сочетанья волн в безбрежности морей,
Ее движения всегда равно бесстрастны!

В ней всюду тайный смысл, и все так странно в ней;
Ее граненых глаз роскошны минералы,
Где с взором ангельским слит сфинксов взор усталый,

С сияньем золота – игра немых камней;
Как блеск ненужных звезд, роскошен блеск холодный
Величья женщины прекрасной и бесплодной.

XXVIII ТАНЦУЮЩАЯ ЗМЕЯ

Твой вид беспечный и ленивый
Я созерцать люблю, когда
Твоих мерцаний переливы
Дрожат, как дальняя звезда.

Люблю кочующие волны
Благоухающих кудрей,
Что благовоний едких полны
И черной синевы морей.

Как челн, зарею окрыленный,
Вдруг распускает паруса,
Мой дух, мечтою умиленный,
Вдруг улетает в небеса.

И два бесчувственные глаза
Презрели радость и печаль,
Как два холодные алмаза,
Где слиты золото и сталь.

Свершая танец свой красивый,
Ты приняла, переняла
Змеи танцующей извивы
На тонком острие жезла.

Истомы ношею тяжелой
Твоя головка склонена –
То вдруг игривостью веселой
Напомнит мне игру слона.

Твой торс склоненный, удлиненный
Дрожит, как чуткая ладья,
Когда вдруг реи наклоненной

Коснется влажная струя.

И, как порой волна, вскипая,
Растет от таянья снегов,
Струится влага, проникая
Сквозь тесный ряд твоих зубов.

Мне снится: жадными губами
Вино богемское я пью,
Как небо, чистыми звездами
Осыпавшее грудь мою!

XXIX ПАДАЛЬ

Скажи, ты помнишь ли ту вещь, что приковала
Наш взор, обласканный сияньем летних дней,
Ту падаль, что вокруг зловонье изливала,
Труп, опрокинутый на ложе из камней.

Он, ноги тощие к лазури простирая,
Дыша отравой, весь в гное и в поту
Валялся там и гнил, все недра разверзая
С распутством женщины, что кажет наготу.

И солнце жадное над падалью сверкало,
Стремясь скорее все до капли разложить,
Вернуть Природе все, что власть ее соткала,
Все то, что некогда горело жаждой жить!

Под взорами небес, зловонье изливая,
Она раскинулась чудовищным цветком,
И задыхалась ты – и, словно неживая,
Готовилась упасть на свежий луг ничком.

Неслось жужжанье мух из живота гнилого,
Личинок жадные и черные полки
Струились, как смола, из остова живого,
И, шевелясь, ползли истлевшие куски.

Волной кипящею пред нами труп вздымался;
Он низвергался вниз, чтоб снова вырастать,
И как-то странно жил и странно колыхался,
И раздувался весь, чтоб больше, больше стать!

И странной музыкой все вокруг него дышало,
Как будто ветра вздох был слит с журчаньем вод,
Как будто в веялке, кружась, зерно шуршало
И свой ритмический свершало оборот.

Вдруг нам почудилось, что пеленою черной
Распавшись, труп исчез, как побледневший сон.
Как контур выцветший, что, взору непокорный,
Воспоминанием бывает довершен.

И пес встревоженный, сердитый и голодный,
Укрывшись за скалой, с ворчаньем мига ждал,
Чтоб снова броситься на смрадный труп свободно
И вновь глотать скелет, который он глодал.

А вот придет пора – и ты, червей питая,
Как это чудище, вдруг станешь смрад и гной,
Ты – солнца светлый лик, звезда очей золотая,
Ты – страсть моей души, ты – чистый ангел мой!

О да, прекрасная – ты будешь остов смрадный,
Чтоб под ковром цветов, средь сумрака могил,
Среди костей найти свой жребий безотрадный,
Едва рассеется последний дым кадил.

Но ты скажи червям, когда без сожаленья
Они тебя пожрут лобзанием своим,
Что лик моей любви, распавшейся из тленья,
Воздвигну я навек нетленным и святым!

XXX DE PROFUNDIS CLAMAVI⁴⁵

Пусть в безднах сумрака душа погребена,
Я вопию к Тебе: дай каплю сожаленья!
Вкруг реют ужасы, кишат богохуленья,
Свинцовый горизонт все обнял, как стена.

Остывший солнца диск здесь катится полгода,
Полгода ночь царит над мертвою страной,
Ни травки, ни ручья, ни зверя предо мной;
На дальнем полюсе – наряднее природа!

Нет больше ужасов для тех, кто одолел
Неумолимый гнев светила ледяного,
Мрак ночи, Хаоса подобие седого,

И я завидую всем тварям, чей удел –
Забиться сном, чей дух небытие впивает,

⁴⁵ «*De profundis clamavi*» — название стихотворения восходит к заупокойной католической молитве «Из бездны взываю к тебе, Господи».

Покуда свой клубок здесь Время развивает!

XXXI ВАМПИР

В мою больную грудь она
Вошла, как острый нож, блистая,
Пуста, прекрасна и сильна,
Как демонов безумных стая.

Она в альков послушный свой
Мой бедный разум превратила;
Меня, как цепью роковой,
Сковала с ней слепая сила.

И как к игре игрок упорный,
Иль горький пьяница к вину,
Как черви к падали тлетворной,
Я к ней, навек проклятой, льну.

Я стал молить: «Лишь ты мне можешь
Вернуть свободу, острый меч;
Ты, вероломный яд, поможешь
Мое бессилие пресечь!»

Но оба дружно: «Будь покоен! –
С презреньем отвечали мне. –
Ты сам свободы недостоин,
Ты раб по собственной вине!

Когда от страшного кумира
Мы разум твой освободим,
Ты жизнь в холодный труп вампира
Вдохнешь лобзанием своим!»

XXXII

Я эту ночь провел с еврейкою ужасной;
Как возле трупа труп, мы распростерлись с ней,
И я всю ночь мечтал, не отводя очей
От грустных прелестей, унылый и бесстрастный.

Она предстала мне могучей и прекрасной,
Сверкая грацией далеких, прошлых дней;
Как благовонный шлем, навис убор кудрей –
И вновь зажглась в душе любовь мечтою властной.

О, я б любил тебя; в порыве жгучих грез
Я б расточал тебе сокровища лобзаний,
От этих свежих ног до этих черных кос,

Когда бы, без труда сдержав волну рыданий,
Царица страшная! во мраке вечеров
Ты затуманила холодный блеск зрачков!

XXXIII ПОСМЕРТНЫЕ УГРЫЗЕНИЯ

Когда ты будешь спать средь сумрака могилы,
И черный мавзолей воздвигнут над тобой;
Когда, прекрасная, лишь ров да склеп унылый
Заменят твой альков и замок пышный твой;

Когда могильная плита без сожаленья
Придавит робкую, изнеженную грудь,
Чтоб в сердце замерло последнее биенье,
Чтоб ножки резвые прервали скользкий путь:

Тогда в тиши ночей без сна и без просвета
Пускай тебе шепнет могильная плита,
Одна достойная наперсница поэта:

«Твоя пустая жизнь позорно прожита;
О том, что мертвецы рыдают, ты не знала!»
Тебя источит червь, как угрызений жало.

XXXIV КОШКА

Спрячь когти, кошечка; сюда, ко мне на грудь,
Что лаской нежною к тебе всегда объята,
И дай моим глазам в твоих глазах тонуть,
Где слит холодный блеск металла и агата!

Когда ласкаю я то голову твою,
То спину гибкую своей рукой небрежной,
Когда, задумчивый, я светлый рой ловлю
Искр электрических, тебя касаясь нежно,

В моей душе встает знакомое виденье:
Ее бесчувственный, ее холодный взгляд

Мне в грудь вонзается, как сталь, без сожаленья,

И с головы до ног, как тонкий аромат,
Вкруг тела смуглого струя смертельный яд,
Она со мной опять, как в прежние мгновенья.

**XXXV
DUELLUM⁴⁶**

Бойцы сошлись на бой, и их мечи вокруг
Кропят горячий пот и брызжут красной кровью.
Те игры страшные, тот медный звон и стук –
Стенанья юности, растерзанной любовью!

В бою раздроблены неверные клинки,
Но острый ряд зубов бойцам заменит шпаги:
Сердца, что поздною любовью глубоки,
Не ведают границ безумья и отваги!

И вот в убежище тигрят, в глухой овраг
Скатился в бешенстве врага сдавивший враг,
Кустарник багряня кровавыми струями!

Та пропасть – черный ад, наполненный друзьями;
С тобой, проклятая, мы скатимся туда,
Чтоб наша ненависть осталась навсегда!

**XXXVI
БАЛКОН**

О цариц царица, мать воспоминаний,
Ты, как долг, как счастье, сердцу дорога,
Ты – воскресший отблеск меркнущих лобзаний,
В сумерках вечерних сладость очага,
О цариц царица, мать воспоминаний!

Вечерами углей жаркое дыханье
И балкон под дымкой розовых паров,
Ласки сердца, нежных грудей колыханья
И чуть внятный шепот незабвенных слов,
Вечерами углей жаркое дыханье!

Снова грудь крепчает в глубине простора,

⁴⁶ *Duellum* — поединок, дуэль (лат.).

В теплой мгле вечерней так хорош закат!
Преклоненный силой царственного взора,
Нежной крови пью я тонкий аромат;
Снова грудь крепчает в глубине простора!

Встала ночь, сгущаясь, черною стеною,
Но зрачков горячих ищет страстный взгляд;
Убаюкав ножки братскою рукою,
Пью твое дыханье, как прелестный яд;
Встала ночь, сгущаясь, черною стеною.

Мне дано искусство воскрешать мгновенья
И к твоим коленам льнущие мечты;
В нежном сердце, в теле, что полны томленья,
Я ищу, волнуясь, грустной красоты.
Мне дано искусство воскрешать мгновенья!

Ароматы, шепот, без конца лобзанья!
Кто из бездн запретных вас назад вернет,
Как лучей воскресших новые блистанья,
Если ночь омоет их в пучинах вод?
Ароматы, шепот, без конца лобзанья!

XXXVII ОДЕРЖИМЫЙ

Смотри, диск солнечный задернут мраком крепа;
Окутайся во мглу и ты, моя Луна,
Курясь в небытии, безмолвна и мрачна,
И погрузи свой лик в бездонный сумрак склепа.

Зову одну тебя, тебя люблю я слепо!
Ты, как ущербная звезда, полувидна;
Твои лучи влечет Безумия страна;
Долой ножны, кинжал, сверкающий свирепо!

Скорей, о пламя люстр, зажги свои зрачки!
Свои желания зажги, о взор упорный!
Всегда желанна ты во мгле моей тоски;

Ты – розовый рассвет, ты – Ночи сумрак черный;
Все тело в трепете, всю душу полнит гул, –
Я вопию к тебе, мой бог, мой Вельзевул⁴⁷!

⁴⁷ Вельзевул — Сатана, князь тьмы. В оригинале: «O топ cher Belzébuth, je t'adore» — это строка из повести Ж. Казота «Влюбленный дьявол» (1772).

XXXVIII ПРИЗРАК

I МРАК

Велением судьбы я ввергнут в мрачный склеп,
Окутан сумраком таинственно-печальным;
Здесь Ночь предстала мне владыкой изначальным;
Здесь, розовых лучей лишенный, я ослеп.

На вечном сумраке мечты живописуя,
Коварным Господом я присужден к тоске;
Здесь сердце я сварю, как повар, в кипятке
И сам в груди своей его потом пожру я!

Вот, вспыхнув, ширится, колышется, растет,
Ленивой грацией приковывая око,
Великолепное видение Востока;

Вот протянулось ввысь и замерло – и вот
Я узнаю Ее померкшими очами:
Ее, то темную, то полную лучами.

II АРОМАТ

Читатель, знал ли ты, как сладостно душе,
Себя медлительно, блаженно опьяняя,
Пить ладан, что висит, свод церкви наполняя,
Иль едким мускусом пропахшее саше?

Тогда минувшего иссякнувший поток
Опять наполнится с магической силой,
Как будто ты сорвал на нежном теле милой
Воспоминания изысканный цветок!

Саше пахучее, кадила алков, алькова,
Ее густых кудрей тяжелое руно
Льет волны диких грез и запаха лесного;

В одеждах бархатных, где все еще полно
Дыханья юности невинного, святого,
Я запах меха пью, пьянящий, как вино.

III РАМКА

Как рамка лучшую картину облекает
Необъяснимою, волшебной красотой,
И, отделив ее таинственной чертой
От всей Природы, к ней вниманье привлекает,

Так с красотой ее изысканной слиты
Металл и блеск камней и кресел позолота:
К ее сиянью все спешит прибавить что-то,
Все служит рамкою волшебной красоты.

И вот ей кажется, что все вокруг немеет
От обожания, и торс роскошный свой
Она в лобзаниях тугих шелков лелеет,

Сверкая зябкою и чуткой наготой;
Она вся грации исполнена красивой
И обезьянкою мне кажется игривой.

IV ПОРТРЕТ

Увы, Болезнь и Смерть все в пепел превратили;
Огонь, согревший нам сердца на миг, угас;
И нега знойная твоих огромных глаз
И влага пышных губ вдруг стали горстью пыли.

Останки скудные увидела душа;
Где вы, пьянящие, всеильные лобзанья,
Восторгов краткие и яркие блистанья?..
О, смутен контур твой, как три карандаша.

Но в одиночестве и он, как я, умрет –
И Время, злой старик, день ото дня упорно
Крылом чудовищным его следы сотрет...

Убийца дней моих, палач мечтаний черный,
Из вечной памяти досель ты не исторг
Ее – души моей и гордость и восторг!

XXXIX⁴⁸

Тебе мои стихи! Когда поэта имя,
Как легкая ладья, что гонит Аквилон⁴⁹,

⁴⁸ Этот сонет завершает цикл, обращенный к Жанне Дюваль.

⁴⁹ *Аквилон* — резкий и холодный северный ветер.

Причалит к берегам неведомых времен
И мозг людей зажжет виденьями своими –

Пусть память о тебе назойливо гремит,
Пусть мучит, как тимпан⁵⁰, чарует, как преданье,
Сплетется с рифмами в мистическом слиянье,
Как только с петлей труп бывает братски слит!

Ты, бездной адскою, ты, небом проклятая,
В одной моей душе нашла себе ответ!
Ты тень мгновенная, чей контур гаснет, тая.

Глумясь над смертными, ты попираешь свет
И взором яшмовым и легкою стопою,
Гигантским ангелом воздвигшись над толпою!

XL SEMPER EADEM⁵¹

«Откуда скорбь твоя? Зачем ее волна
Взбегает по скале, чернеющей отвесно?»
– Тоской доступной всем, загадкой всем известной
Исполнена душа, где жатва свершена.

Сдержи свой смех, равно всем милый и понятный,
Как правда горькая, что жизнь – лишь бездна зла;
Пусть смолкнет, милая, твой голос, сердцу внятный,
Чтоб на уста печать безмолвия легла.

Ты знаешь ли, дитя, чье сердце полно света
И чьи улыбки невинные уста, –
Что Смерть хитрей, чем Жизнь, плетет свои тенета?

Но пусть мой дух пьянит и ложная мечта!
И пусть утонет взор в твоих очах лучистых,
Вкушая долгий сон во мгле ресниц тенистых.

XLI ВСЕ НЕРАЗДЕЛЬНО

⁵⁰ *Тимпан* — древний ударный инструмент, похожий на небольшие литавры.

⁵¹ *Semper eadem* — всегда та же (*лат.*).

Этим сонетом начинается лирический цикл (XL–XLVIII), посвященный Аполлонии Сабатье, которую Бодлер встретил в 1842 г. в отеле «Пимодан» у художника Буассара.

Сам Демон в комнате высокой
Сегодня посетил меня;
Он вопрошал мой дух, жестоко
К ошибкам разум мой клоня:

«В своих желаниях упорных
Из всех ее живых красот,
И бледно-розовых и черных,
Скажи, что вкус твой предпочтет?»

«Уйди!» – нечистому сказала
Моя влюбленная душа:
«В ней все – диктам⁵², она мне стала
Вся безраздельно хороша!

В ней все мне сердце умиляет,
Не знаю „что“, не знаю „как“;
Она, как утро, ослепляет,
И утоляет дух, как мрак.

В ней перепутана так сложно
Красот изысканная нить,
Ее гармоний невозможно
В ряды аккордов разрешить.

Душа исполнена влиянья
Таинственных метаморфоз:
В ней стало музыкой дыханье,
А голос – ароматом роз!»

XLII

Что можешь ты сказать, мой дух, всегда ненастный,
Душа поблекшая, что можешь ты сказать
Ей, полной благодати, ей, щедрой, ей, прекрасной?
Один небесный взор – и ты цветешь опять!..

Напевом гордости да будет та хвалима,
Чьи очи строгие нежнее всех очей,
Чья плоть – безгрешное дыханье херувима,
Чей взор меня облек в одежду из лучей!

Всегда: во тьме ночной, холодной и унылой,
На людной улице, при ярком свете дня,
Передо мной скользит, дрожит твой облик милый,

⁵² Диктам — здесь: бальзам.

Как факел, сотканный из чистого огня:
«Предайся Красоте душой, в меня влюбленной;
Я буду Музою твоею и Мадонной!»

XLIII ЖИВОЙ ФАКЕЛ

Глаза лучистые, вперед идут они,
Рукою Ангела превращены в магниты,
Роняя мне в глаза алмазные огни, –
Два брата, чьи сердца с моим чудесно слиты.

Все обольщения рассеяв без следа,
Они влекут меня высокою стезею;
За ними следую я рабскою стопою,
Живому факелу предавшись навсегда!

Глаза прелестные! Мистическим сияньем
Подобны вы свечам при красном свете дня,
Вы – луч померкнувший волшебного огня!..

Но свечи славят Смерть таинственным мерцаньем,
А ваш негаснущий, неистребимый свет –
Гимн возрождения, залог моих побед!

XLIV ВОЗВРАТИМОСТЬ⁵³

Ангел, радостный Ангел, ты знаешь ли муки,
Безнадежность рыданий и горький позор,
Страх бессонных ночей и томление скуки,
И безжалостной совести поздний укор?
Ангел, радостный Ангел, ты знаешь ли муки?

Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую,
Руки сжатые, слезы обиды в глазах,
В час, как Месть, полновластная в наших сердцах,
Адским зовом встревожит нам душу больную?
Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую?

⁵³ Название «Réversibilité» (*фр.* обратимость), очевидно, связано с теорией Ж. де Местра, который в восьмом разделе своей книги «Санкт-Петербургские вечера» (1821) развивает мысль о том, что святость одних может послужить искуплением греховности других.

Ангел, полный здоровья, ты знаешь больницы,
Где болезни, как узники, шаткой стопой
В бледном сумраке бродят по стенам темницы, —
Ищут мертвые губы их луч золотой?
Ангел, полный здоровья, ты знаешь больницы?

Язвы оспы ты знаешь ли, Ангел прекрасный,
Близость старости мертвой и мерзостный миг,
Коль во взорах, где взор опьяняется страстный,
Ты нежданно предательства жажду постиг?
Язвы оспы ты знаешь ли, Ангел прекрасный?

Ангел полный сиянья и счастьем богатый,
Царь Давид умолял бы⁵⁴, в час смерти любя,
Чтоб его воскресили твои ароматы;
Я же только молитвы прошу у тебя,
Ангел полный сиянья и счастьем богатый!

XLV ПРИЗНАНИЕ

О, незабвенный миг! То было только раз:
Ты на руку мою своей рукой учливой
Вдруг так доверчиво, так нежно оперлась,
Надолго озарив мой сумрак сиротливый.

Тогда был поздний час; как новая медаль,
Был полный диск луны на мраке отчеканен,
И ночь торжественной рекой катилась вдаль;
Вкруг мирно спал Париж, и звук шагов был странен;

Вдоль дремлющих домов, в полночной тишине
Лишь кошки робкие, насторожась, шныряли,
Как тени милые, бродили при луне
И, провожая нас, шаг легкий умеряли.

Вдруг близость странная меж нами расцвела,
Как призрачный цветок, что вырос в бледном свете,
И ты, чья молодость в своем живом расцвете
Лишь пышным праздником и радостью была,

Ты, светлый звон трубы, в лучах зари гремящей —
В миг странной близости, возникшей при луне,
Вдруг нотой жалостной, неверной и кричащей,
Как бы непрошеной, пронзила сердце мне.

⁵⁴ Царь Давид умолял бы... — Имеется в виду эпизод со стареющим Давидом (см. Третья книга Царств, 1).

Та нота вырвалась и дико и нелепо,
Как исковерканный, беспомощный урод,
Заброшенный семьей навек во мраке склепа
И вдруг покинувший подземный, тайный свод.

Та нота горькая, мой ангел бедный, пела:
«Как все неверно здесь, где смертью все грозит!
О, как из-под румян, подделанных умело,
Лишь бессердечие холодное сквозит!

Свой труд танцовщицы, и скучный и банальный,
Всегда готова я безумно клясть, как зло;
Пленять сердца людей улыбкой машинальной
И быть красавицей – плохое ремесло.

Возможно ли творить, где все живет мгновенье,
Где гибнет красота, изменчива любовь,
И где поглотит все холодное Забвенье,
Где в жерло Вечности все возвратится вновь!»

Как часто вижу я с тех пор в воспоминанье
Молчанье грустное, волшебный свет луны
И это горькое и страшное признание,
Всю эту исповедь под шепот тишины!

XLVI ДУХОВНАЯ ЗАРЯ

Лишь глянет лик зари, и розовый и белый,
И строгий Идеал, как грустный, чистый сон,
Войдет к толпе людей, в разврате закоснелой,
В скоте пресыщенном вдруг Ангел пробужден.

И души падшие, чья скорбь благословенна,
Опять приближены к далеким небесам,
Лазурной бездною увлечены мгновенно;
Не так ли, чистая Богиня, сходит к нам

В тот час, когда вокруг чадят останки оргий,
Твой образ, сотканный из розовых лучей?
Глаза расширены в молитвенном восторге;

Как Солнца светлый лик мрачит огни свечей,
Так ты, моя душа, свергая облик бледный,
Вдруг блещешь вновь, как свет бессмертный,
всепобедный.

XLVII ГАРМОНИЯ ВЕЧЕРА

В час вечерний здесь каждый дрожащий цветок,
Как кадила, льет фимиам, умиленный,
Волны звуков сливая с волной благовонной;
Где-то кружится вальс, безутешно-глубок;

Льет дрожащий цветок фимиам, умиленный,
Словно сердце больное, рыдает смычок,
Где-то кружится вальс, безутешно-глубок,
И прекрасен закат, как алтарь позлащенный;

Словно сердце больное, рыдает смычок, —
Словно робкое сердце пред тьмою бездонной,
И прекрасен закат, как алтарь позлащенный;
Погружается солнце в кровавый поток...

Снова робкое сердце пред тьмою бездонной
Ищет в прошлом угаснувших дней огонек;
Погружается солнце в кровавый поток...
Но как отблеск потира⁵⁵ — твой образ священный!

XLVIII ФЛАКОН

Есть проникающий все поры аромат,
Подчас в самом стекле не знающий преград.
Раскупорив сундук, приплывший к нам с Востока,
С замком, под пальцами скрежещущим жестоко,

Иль в доме брошенном и пыльном разыскав
Весь полный запахов годов минувших шкаф,
Случалось ли тебе найти флакон забытый, —
И в миг овеян ты душой, в стекле сокрытой.

Там в забыты дремал, с тяжелым мраком слит,
Рой мыслей, словно горсть печальных хризалид⁵⁶;
Вдруг, крылья распустив, причудливой толпою
Он слил цвет розовый с лазурью золотою.

Не так ли нас пьянит и носится вокруг
Воспоминаний рой, от сна очнувшись вдруг?

⁵⁵ *Потир* — в церковном обиходе чаша для святых даров.

⁵⁶ *Хризалиды* — куколки, промежуточная стадия превращения гусеницы в бабочку.

Нас, взор смежив, влечет безумье к бездне черной,
Где – человеческих миазмов дух тлетворный.

Душа низринута во тьму седых веков.
Где Лазарь⁵⁷, весь смердя, встает среди гробов,
Как привидение, и саван разрывает;
Восторг былых страстей в нем сердце надрывает.

Так погружусь и я в забвенье и во мглу,
Заброшен в пыльный шкаф, забыт в его углу;
Флакон надтреснутый, нечистый, липкий, пыльный
Я сохраню тебя, чума, как склеп могильный.

О жизнь моей души, о сердца страшный яд!
Я всем поведаю, что твой всемогущий взгляд,
Что сами ангелы мне в грудь отраву влили
И что напиток тот мои уста хвалили!

XLIX ОТРАВА⁵⁸

Порой вино притон разврата
В чертог волшебный превратит
Иль в портик сказочно богатый,
Где всюду золото блестит,
Как в облаках – огни заката.

Порою опий властью чар
Раздвинет мир пространств безбрежный,
Удержит миг бег мятежный
И в сердце силой неизбежной
Зажжет чудовищный пожар!

Твои глаза еще страшнее,
Твои зеленые глаза:
Я опрокинут в них, бледнея;
К ним льнут желанья, пламенея,
И упоет их гроза.

Но жадных глаз твоих страшнее
Твоя язвящая слюна;
Душа, в безумьи цепенея,
В небытие погружена,

⁵⁷ Лазарь — брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом (Иоанн, 11, 12), это было последнее чудо, совершенное им перед Страстной неделей.

⁵⁸ Это стихотворение принадлежит к третьему циклу любовной лирики (XLIX–LVII), связанному с актрисой Мари Добрен (1827–1901), «женщиной с зелеными глазами». Она вошла в жизнь поэта в 1854 г.

И мертвых тихая страна
Уже отверста перед нею!

L ОБЛАЧНОЕ НЕБО

Как дымка, легкий пар прикрыл твой взор ненастный;
То нежно-грезящий, то гневный и ужасный,
То серо-пепельный, то бледно-голубой,
Бесцветный свод небес он отразил собой.

Он влажность знойных дней на память вновь приводит,
Тех дней, когда душа в блаженстве слез исходит,
Когда, предчувствием зловещим потрясен,
Мягнется дух в бреду, а ум вкушает сон.

Ты – даль прекрасная печальных кругозоров,
Лучей осенних свет, сень облачных узоров;
Ты – пышный, поздний блеск увлажненных полей,
С лазури облачной ниспавший сноп лучей.

Как хлопья инея, как снежные морозы,
Пленительны твои безжалостные грозы;
Душа, влюбленная в металл и в скользкий лед,
Восторг утонченный в тебе одной найдет!

LI КОТ

I
Как в комнате простой, в моем мозгу с небрежной
И легкой грацией все бродит чудный кот;
Он заунывно песнь чуть слышную поет;
Его мяуканье и вкрадчиво и нежно.

Его мурлыканья то внятнее звучат,
То удаленнее, спокойнее, слабее;
Тот голос звуками глубокими богат
И тайно властвует он над душой моею.

Он в недра черные таинственно проник,
Повиснул сетью струй, как капли, упадет;
К нему, как к зелию, устами я приник,
Как строфы звучные, он грудь переполняет.

Мои страдания он властен покорить,
Ему дано зажечь блаженные экстазы,
И незачем ему, чтоб с сердцем говорить,
Бесцельные слова слагать в пустые фразы.

Тот голос сладостней певучего смычка,
И он торжественней, чем звонких струн дрожанье;
Он грудь пронзает мне, как сладкая тоска,
Недостижимое струя очарованье.

О чудный, странный кот! Кто голос твой хоть раз
И твой таинственный напев хоть раз услышит,
Он снизойдет в него, как серафима глас,
Где все утонченной гармониею дышит.

II

От этой шубки черно-белой
Исходит тонкий аромат;
Ее коснувшись, вечер целый
Я благовонием объят.

Как некий бог – быть может, фея –
Как добрый гений здешних мест,
Всем управляя, всюду вея,
Он наполняет все окрест.

Когда же снова взгляд влюбленный
Я, устремив в твой взор, гляжу, –
Его невольно вновь, смущенный,
Я на себя перевожу;

Тогда твоих зрачков опалы,
Как два фонарика, горят,
И ты во мгле в мой взгляд усталый
Свой пристальный вперяешь взгляд.

III ПРЕКРАСНЫЙ КОРАБЛЬ

Я расскажу тебе, изнеженная фея,
Все прелести твои в своих мечтах лелея,
Что блеск твоих красот
Сливает детства цвет и молодости плод!

Твой плавный, мерный шаг края одежд колышет,
Как медленный корабль, что ширью моря дышит,
Раскинув парус свой,

Едва колеблемый ритмической волной.

Над круглой шеею, над пышными плечами
Ты вознесла главу; спокойными очами
Уверенно блестя,
Как величавое ты шествуешь дитя!

Я расскажу тебе, изнеженная фея,
Все прелести твои в своих мечтах лелея,
Что блеск твоих красот
Сливает детства цвет и молодости плод.

Как шеи блещущей красив изгиб картинный!
Муаром он горит, блестя, как шкаф старинный;
Грудь каждая, как щит,
Вдруг вспыхнув, молнии снопами источит.

Щиты дразнящие, где будят в нас желанья
Две точки розовых, где льют благоуханья
Волшебные цветы,
Где все сердца пьянят безумные мечты!

Твой плавный, мерный шаг края одежд колышет,
Ты – медленный корабль, что ширью моря дышит,
Раскинув парус свой,
Едва колеблемый ритмической волной!

Твои колени льнут к изгибам одеяний,
Сжигая грудь огнем мучительных желаний;
Так две колдуньи яд
В сосуды черные размеренно струят.

Твоим рукам сродни Геракловы забавы,
И тянутся они, как страшные удавы,
Любовника обвить,
Прижать к твоей груди и в грудь твою вдавить!

Над круглой шеею, над пышными плечами
Ты вознесла главу; спокойными очами
Уверенно блестя,
Как величавое ты шествуешь дитя!

ЛШ ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Дорогое дитя!
Унесемся, шутя,
К жизни новой, далекой, блаженной,
Чтоб любить и гореть

И, любя, умереть
В той стране – как и ты, совершенной!
В небесах влажный луч
Меж разорванных туч
Взор таинственно манит, ласкает,
Как изменой глаза,
Где прозрачна слеза,
Где сквозь слезы улыбка мелькает.

Там Прекрасного строгая власть,
Безмятежность, и роскошь, и страсть!

Там блестит долгих лет
Вкруг на мебели след,
Наш укромный уют украшая;
Купы редких цветов
Напоят наш альков,
С легкой амброй свой запах мешая.
Там богатый плафон
В зеркалах повторен,
Все там дышит роскошным Востоком,
И всегда об одном,
Лишь о милом, родном
С изумленным беседует оком!

Там Прекрасного строгая власть,
Безмятежность, и роскошь, и страсть.

На каналах вдали
Чутко спят корабли,
Но капризен их сон безмятежный;
Захоти – и опять
Понесется их рать
За пределы вселенной безбрежной.
– Догорает закат,
И лучи золотят
Гиацинтовым блеском каналы;
Всюду сон, всюду мир,
Засыпает весь мир,
Теплым светом облитый, усталый.

Там Прекрасного строгая власть,
Безмятежность, и роскошь, и страсть.

LIV НЕПОПРАВИМОЕ

Как усыпить в груди бывшего угрызенья?
Они копошатся, и вьются, и ползут, –

Так черви точат труп, не зная сожаленья,
Так гусеницы дуб грызут!
Как усыпить в груди бывшего угрызенья?

Где утопить врага: в вине, в любовном зелье,
Исконного врага больной души моей?
Душой развратною он погружен в похмелье,
Неутомим, как муравей.
Где утопить его: в вине, в любовном зелье? –

Скажи погибшему, волшебница и фея,
Скажи тому, кто пал, изнывши от скорбей,
Кто в грудах раненых отходит, цепенея,
Уже растоптанный копытами коней,
Скажи погибшему, волшебница и фея!

Скажи тому, чей труп почуял волк голодный
И ворон сторожит в безлюдии ночном,
Кто, как солдат, упал с надеждою бесплодной
Заснуть под собственным крестом:
Скажи тому, чей труп почуял волк голодный!

Как озарить лучом небесный мрак бездонный?
Когда пронижет ночь лучистая стрела?
Ни звезд, ни трепета зарницы похоронной;
Покровы тьмы – смола!
Как озарить лучом небесный мрак бездонный?

Надежда бледная в окне едва мигала,
И вдруг угасло все, угасло навсегда,
Бездомных путников дорога истерзала,
Луна померкла без следа!
Все Дьявол угасил, что там в окне мигало!

Скажи, любила ль ты, волшебное созданье,
Погибших навсегда? Скажи, видала ль ты
Непоправимого бесплодные страданья,
Тоской изрытые черты?
Скажи, любила ль ты, волшебное созданье?

Непоправимое мне сердце рвет и гложет
Зубами острыми и, как термитов рой –
Забывтый мавзолей, безжалостно тревожит
Дух обветшалый мой!..
Непоправимое мне сердце рвет и гложет!

На дне банальных сцен я наблюдал не раз,
Когда оркестра гром вдруг вспыхнет, пламенея,
Как зажигала вмиг зари волшебной газ
На адских небесах сияющая фея;
На дне банальных сцен я наблюдал не раз,

Как призрак, сотканный из золота и газа,
На землю низвергал гиганта-Сатану;
И ты, душа моя, не знавшая экстаза, –
Лишь сцена пошлая, где ждут мечту одну,
Лишь призрак, сотканный из золота и газа.

LV РАЗГОВОР

Ты вся – как розовый осенний небосклон!
Во мне же вновь растет печаль, как вал прилива,
И отступает вновь, как море, молчалива,
И пеной горькою я снова уязвлен.

– Твоя рука скользит в объятиях бесплодных,
К моей поруганной груди стремясь прильнуть;
Когтями женщины моя изрыта грудь,

И сердце пожрано толпой зверей голодных.
Чертог моей души безбожно осквернен;
Кошунство, оргия и смерть со всех сторон!
– Струится аромат вокруг шеи обнаженной!

В нем, Красота, твой бич, твой зов и твой закон!
Сверкни же светлыми очами, дорогая,
Зверям ненужный прах их пламенем сжигая!

LVI ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

I

Мы скоро в сумраке потонем ледяном;
Прости же, летний свет, и краткий и печальный;
Я слышу, как стучат поленья за окном,
Их гулкий стук звучит мне песней погребальной.

В моей душе – зима, и снова гнев и дрожь,
И безотчетный страх, и снова труд суровый;
Как солнца льдистый диск, так, сердце, ты замрешь,
Ниспав в полярный ад громадою багровой!

С тревогой каждый звук мой чуткий ловит слух;
То – эшафота стук... Не зная счета ранам,
Как башня ветхая, и ты падешь, мой дух,

Давно расшатанный безжалостным тараном.

Тот монотонный гул вливает в душу сон,
Мне снится черный гроб, гвоздей мне внятны звуки;
Вчера был летний день, и вот сегодня – стон
И слезы осени, предвестники разлуки.

II

Люблю ловить в твоих медлительных очах
Луч нежно-тающий и сладостно-зеленый;
Но нынче бросил я и ложе и очаг,
В светило пышное и отблеск волн влюбленный.

Но ты люби меня, как нежная сестра,
Как мать, своей душой в прощении безмерной;
Как пышной осени закатная игра,
Согрей дыханьем грудь и лаской эфемерной:

Последний долг пред тем, кого уж жаждет гроб!
Дай мне, впивая луч осенний, пожелтелый,
Мечтать, к твоим ногам прижав холодный лоб,
И призрак летних дней оплакать знойно-белый.

LVII МАДОННЕ

EX-VOTO⁵⁹ В ИСПАНСКОМ ВКУСЕ

Тебе, Владычица, тебе, моя Мадонна,
Воздвигну я алтарь в душе, чья скорбь бездонна;
Вдали от праздных глаз, от всех земных страстей,
В заветной глубине, где мрак всего черней,
Я нишу иссеку лазурно-золотую,
Сокрою Статую под ней твою святую;
Из Строф, где я в узор единый сочетал
Кристаллы стройных рифм и звонких строк металл,
Я для тебя скую гигантскую Корону;
Я на тебя потом, на смертную Мадонну,
Исполнен Ревностью, Сомнением и Тоской,
Как будку тесную, бестрепетной рукой
Наброшу Мантию тяжелого покроя,
Очарование твоих красот утраю;
В узоры Слез моих, как в Перлы, убрана,
Страстей трепещущих широкая волна
Пусть обовьет твой стан, струясь, как Одеянье,

⁵⁹ *Ex voto* — дар по обету (лат.).

На теле розовом запечатлев лобзанье.
Стопам божественным отдав Любовь свою,
Я из нее тебе два Башмачка сошью,
Чтоб крепче раковин они те ножки сжали,
Чтоб, попирая, их те ножки унижали.
И если мне нельзя, свои свершая сны,
Ступени выковать из серебра Луны, –
Змею, грызущую мне сердце и утробу,
Под каблучки твои швырну, питая злобу,
Чтобы чудовище, язвящее слюной,
Победоносною сдавила ты стопой.
Пред алтарем твоим, Царица Дев святая,
Как стройный ряд Свечей, торжественно блистая,
Мечты затеплятся, с лазурной вышины
Взирая на тебя, вверху отражены.
Перед тобой я весь – восторг и обожанье,
Как Смирны аромат, как Ладана дыханье,
И лишь к тебе, моей вершине снеговой,
Я вечно Тучею стремлюся грозовой.

Потом, чтоб до конца исполнить роль Марии,
Чтоб с лютой пыткой слить мечты любви святые,
Я смертных семь Грехов искусно отточу
Как семь ножей, чтоб их, как должно палачу,
Наметив цель себе в твоей любви великой, –
Рукой искусною, рукой безумно-дикой
Все семь Ножей в твою святую Грудь воткнуть –
В твою покорную и трепетную Грудь!

LVIII ПЕСНЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Пусть искажен твой лик прелестный
Изгибом бешеных бровей –
Твой взор вонзается живею;
И, пусть не ангел ты небесный,

Люблю тебя безумно, страсть,
Тебя, свободу страшных оргий;
Как жрец пред идолом, в восторге
Перед тобой хочу упасть!

Пустынь и леса ароматы
Плывут в извивах жестких кос;
Ты вся – мучительный вопрос,
Влияньем страшных тайн богатый!

Как из камильниц легкий дым,
Твой запах вокруг тебя клубится,

Твой взгляд – вечерняя зарница,
Ты дышишь сумраком ночным,

Твоей истомой опьяненным.
Ты драгоценней, чем вино,
И трупы оживлять дано
Твоим объятьям иступленным!

Изгиб прильнувших к груди бедр
Пронзает дрожь изнеможений;
Истомой медленных движений
Ты нежишь свой роскошный одр.

Порывы бешеных страстей
В моих объятьях утоляя,
Лобзанья, раны расточая,
Ты бьешься на груди моей:

То, издеваясь, грудь мою
С безумным смехом раздираешь,
То в сердце тихий взор вперяешь,
Как света лунного струю.

Склонясь в восторге упоений
К твоим атласным башмачкам,
Я все сложу к твоим ногам:
Мой вещий рок, восторг мой, гений!

Твой свет, твой жар целят меня,
Я знаю счастье в этом мире!
В моей безрадостной Сибири
Ты – вспышка яркого огня!

LIX SISINA

Скажи, ты видел ли, как гордая Диана⁶⁰
Легко и весело несется сквозь леса,
К толпе поклонников не преклоняя стана,
Упившись криками, по ветру волоса?

Ты видел ли Théroigne⁶¹, что толпы зажигает,
В атаку чернь зовет и любит грохот сеч,

⁶⁰ Диана — в римской мифологии покровительница растений, хозяйка леса.

⁶¹ Théroigne — Теруань де Мерикур Анна Жозефа (1762–1817), актриса, героиня Великой французской революции, принимавшая участие в штурме королевского дворца Тюильри (10 августа 1792 г.).

Чей смелый взор – огонь, когда, подняв свой меч,
Она по лестницам в дворцы царей вбегает?

Не так ли, Sisina⁶², горит душа твоя!
Но ты щедротами полна, и смерть тая, –
Но ты, влюбленная в огонь и порох бурно,

Перед молящими спешишь, окончив бой,
Сложить оружие – и слезы льешь, как урна⁶³,
Опустошенная безумною борьбой.

LX
LOUANGES DE MA FRANÇOISE⁶⁴

Je te chanterai sur des cordes nouvelles,
Ô ma bichette qui te joues
Dans la solitude de mon cœur.

Sois parée de guirlandes,
Ô femme délicieuse
Par qui les péchés sont remis.

Comme d'un bienfaisant Léthé,
Je puiserai des baisers de toi
Qui es imprégnée d'aimant.

Quand la tempête des vices
Troublait toutes les routes,
Tu m'es apparue, Dêité,

Comme une étoile salutaire
Dans les naufrages amers...
– Je suspendrai mon cœur à tes autels!

Piscine pleine de vertu,
Fontaine d'éternelle jouvence,
Rends la voix à mes lèvres muettes!

Ce qui était vil, tu l'as brûlé;
Rude, tu l'as aplani;
Débile, tu l'as affermi.

Dans la faim, mon auberge,

⁶² *Sisina* — Элиза Ниери, подруга А. Сабатъе, сторонница итальянского освободительного движения.

⁶³ ...слезы льешь, как урна... — Имеется в виду погребальная урна, сосуд слез.

⁶⁴ «*Franciskae meae laudes*» — «Похвалы моей Франциске» (лат.), латинское стихотворение Бодлера.

Dans la nuit ma lampe,
Guide-moi toujours comme il faut.

Ajoute maintenant des forces à mes forces.
Doux bain parfumé
De suaves odeurs!

Brille autour de mes reins,
Ô ceinture de chasteté,
Trempée d'eau séraphique;

Coupe étincelante de pierreries,
Pain relevé de sel, mets délicat,
Vin divin, Française.

LXI КРЕОЛКЕ⁶⁵

Я с нею встретился в краю благоуханном,
Где в красный балдахин сплелась деревьев сень,
Где каплет с стройных пальм в глаза густая лень.
Как в ней дышало все очарованьем странным:

И кожи тусклые и теплые тона,
И шеи контуры изящно-благородной,
И поступь смелая охотницы свободной,
Улыбка мирная и взоров глубина.

О, если б ты пришла в наш славный край и строгий,
К Луаре сумрачной иль к Сены берегам,
Достойная убрать античные чертоги:

Как негры черные, склонясь к твоим ногам,
Толпы покорные восторженных поэтов
Сложили б тысячи и тысячи сонетов.

LXII MOESTA ET ERRABUNDA⁶⁶

⁶⁵ Этот сонет был послан автором в октябре 1841 г. мадам Отар де Брагар, в доме которой на острове Св. Маврикия гостил поэт.

⁶⁶ «*Moesta et errabunda*» — грустные и неприкаянные <мысли> (лат.).

Ты ночью порой улетала ль, Агата⁶⁷,
Из нечистого моря столицы больной
В бездну моря иного, что блеском богато,
Ослепляя лазурной своей глубиной?
Ты ночью порой улетала ль, Агата?

Исцели наше сердце от горьких забот,
Ты, зловеще ревушая ширь океана,
Сочетая журчанье певучее вод
С воем ветра, как с рокотом грозным органа!
Исцели наше сердце от горьких забот!

На колесах вагона, на крыльях фрегата
Я умчусь от нечистых, беспомощных слез;
Шепот сердца больного ты слышишь, Агата:
– Прочь от мук, преступлений, безрадостных грез
На колесах вагона, на крыльях фрегата!

Но далек бесконечно наш рай благовонный,
Где не меркнут в лазури утехи любви,
Где наш дух, совершенством мечты умиленный,
Чистой страсти омоют живые струи!
Но далек бесконечно наш рай благовонный!

Рай зеленый, что полон ребяческих снов, –
Поцелуи, гирлянды, напевы, улыбки,
Опьяняющий вечер во мраке лесов,
За холмами, вдали трепетание скрипки –
Рай зеленый, что полон ребяческих снов!..

Рай невинности, царство мечты затаенной,
Неужели ты дальше от нас, чем Китай?
Жалкий крик не вернет этот рай благовонный,
Не вернут серебристые звуки наш рай,
Рай невинности, царство мечты затаенной!

LXIII ВЫХОДЕЦ⁶⁸

Падший дух с желтым блеском зрачков,
Я вернусь к ней в остывший альков,
И с толпою полночных теней
Я приникну невидимо к ней!

⁶⁷ Здесь поэт опирается на греческое значение имени Агата, т. е. добрая, хорошая, благодатная.

⁶⁸ Название этого сонета нередко переводится как «Привидение».

Я пошлю ей среди тишины
Поцелуи холодной луны
И, ласкаясь, царицу мою,
Как могилу – змея, обовью!

А лишь ночь свой поднимет покров,
Опустеет твой душный альков,
Будет веять в нем холод дневной.

Так не шепотом нежных речей
Я весной завладею твоей,
А ужасной, ужасной мечтой!

LXIV ОСЕННИЙ СОНЕТ

Твой взор мне говорит кристальной чистотой:
«О, чем твой странный вкус во мне пленяться может?»
– Люби, безмолвствуя! Мне сердце все тревожит;
Пленен я древнею, животной простотой.

Тебе, чья ласка снов сзывает длинный строй,
Ни тайну адскую, что вечно душу гложет,
Ни сказку черную душа в ответ не сложит.
Я презираю страсть, клянущий рассудок свой!

Люби бестрепетно! В засаде темной скрыта,
Уже сгибает Страсть неотразимый лук.
Мне памятна еще ее проклятий свита,

Старинный арсенал безумств, грехов и мук!
Как два осенние луча, мы вместе слиты,
Я с нежной белизной холодной Маргариты.

LXV ПЕЧАЛЬ ЛУНЫ

Сегодня вечером, полна истомы нежной,
Луна не может спать; не так ли, в забытьи
Лаская контуры грудей рукой небрежной,
Томится девушка, тоскуя о любви.

Луна покоится среди лавин атласных,
Но, в долгий обморок меж них погружена,
Все бродит взорами в толпе теней неясных,

Чьих белых венчиков лазурь еще полна.

Когда ж на землю к нам с небес она уронит
Украдкою слезу, ее возьмет поэт
И на груди своей молитвенно схоронит

Опал, где радуги мерцает бледный свет;
Презрев покой и сон, он скроет, вдохновенный,
От Солнца жадного осколок драгоценный.

LXVI КОШКИ

Чета любовников в часы живой беседы,
Задумчивый мудрец в дни строгого труда
Равно влюбились вас: вы – тоже домоседы,
Вы также нежитесь и зябнете всегда!

И вы – друзья наук и наслаждений страстных;
Вас манит страшный мрак, вас нежит тишина;
Эреб⁶⁹ запряг бы вас в своих путях ужасных –
Но вам в удел рабов покорность не дана.

Перенимаете вы позы сфинксов длинных,
Недвижно грезящих среди песков пустынных,
Навек забывшихся в одном безбрежном сне.

Сноп искр магических у вас в спине пушистой;
В мистических зрачках, чуть искрясь в глубине,
Песчинок тонких рой играет золотистый.

LXVII СОВЫ

Где тисы стелют мрак суровый,
Как идолы, за рядом ряд,
Вперя в сумрак красный взгляд,
Сидят и размышляют совы.

Они недвижно будут так
Сидеть и ждать тот час унылый,
Когда восстанет с прежней силой
И солнце опрокинет мрак.

⁶⁹ Эреб — в греческой мифологии сын Хаоса и брат Ночи; здесь употреблено как символ мрака царства мертвых.

Их поза – мудрым указанье
Презреть движение навек:
Всегда потерпит наказанье

Влюбленный в тени человек,
Едва, исполненный смятений,
Он выступит на миг из тени!

LXVIII ТРУБКА

Я – трубка старого поэта;
Мой кафрский, абиссинский вид,
Как любит он курить, про это
Без слов понятно говорит.

Утешить друга я желаю,
Когда тоска в его душе:
Как печь в убогом шалаше,
Что варит ужин, я пылаю,

Сплетаю голубую сеть,
Ртом дым и пламя источаю
И нежно дух его качаю;

Мне сладко сердце в нем согреть
И дух, измученный тоскою,
Вернуть к блаженству и покою.

LXIX МУЗЫКА⁷⁰

Порою музыка объемлет дух, как море:
О бледная звезда,
Под черной крышей туч, в эфирных бездн просторе,
К тебе я рвусь тогда;

И грудь и легкие крепчают в яром споре,
И, парус свой вия,
По бешеным хребтам померкнувшего моря

⁷⁰ Основные моменты содержания этого сонета Бодлер изложил в своем письме к композитору Рихарду Вагнеру от 17 февраля 1860 г. Ж. Крепе, основываясь на анализе одного из автографов Бодлера, утверждает, что первоначально это стихотворение называлось «Бетховен».

Взбирается ладья.

Трепещет грудь моя, полна безумной страстью,
И вихрь меня влечет над гибельною пастью,
Но вдруг затихнет все –

И вот над пропастью бездонной и зеркальной
Опять колеблет дух спокойный и печальный
Отчаянье свое!

LXX ПОХОРОНЫ ОТВЕРЖЕННОГО ПОЭТА

Когда в давящей тьме ночей,
Христа заветы исполняя,
Твой прах под грудю камней
Зароет в грязь душа святая,

Лишь хор стыдливых звезд сомкнет
Отягощенные ресницы –
Паук тенета развернет
Среди щелей твоей гробницы,

Клубок змеенышей родить
Вползет змея, волк будет выть
Над головою нечестивой;

Твой гроб сберет ночных воров
И рой колдуний похотливый
С толпой развратных стариков.

LXXI ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА⁷¹

На оголенный лоб чудовища-скелета
Корона страшная, как в карнавал, надета;
На остове-коне он мчится, горяча
Коня свирепого без шпор и без бича,
Растет, весь бешеной обрызганный слюною,
Апокалипсиса виденьем предо мною;
Вот он проносится в пространствах без конца;

⁷¹ В первой публикации (1857) это стихотворение носит название «Гравюра Мортимера». Имеется в виду рисунок Дж. Г. Мортимера «Конь Блед, оседланный смертью». Сюжет этот взят из Апокалипсиса Иоанна Богослова: «...конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“...» (Иоанн, VI, 8).

Безбрежность попорана пятою мертвеца,
И молнией меча скелет грозит сердито
Толпам, поверженным у конского копыта;
Как принц, обшаривший чертог со всех сторон,
Скача по кладбищу, несется мимо он;
А вокруг – безбрежные и сумрачные своды,
Где спят все древние, все новые народы.

LXXII ВЕСЕЛЫЙ МЕРТВЕЦ

Я вырою себе глубокий, черный ров,
Чтоб в недра тучные и полные улиток
Упасть, на дне стихий найти последний кров
И кости простереть, изнывшие от пыток.

Я ни одной слезы у мира не просил,
Я проклял кладбища, отвергнул завещанья;
И сам я воронов на тризну пригласил,
Чтоб остов смрадный им предать на растерзанье.

О вы, безглазые, безухие друзья,
О черви! К вам пришел мертвец веселый, я;
О вы, философы, сыны земного тленья!

Ползите ж сквозь меня без муки сожаленья;
Иль пытки новые возможны для того,
Кто – труп меж трупами, в ком все давно мертво?

LXXIII БОЧКА НЕНАВИСТИ

О злая Ненависть, ты – бочка Данаид⁷²,
Куда могучими и красными руками
Без счета ведрами всечасно Мечь спешит
Влить кровь и реки слез, пролитых мертвецами;

Но тайно Демоном проделана дыра,
Откуда льются кровь и пот тысячелетий,
И вновь живут тела, истлевшие вчера,
И расточают вновь их кровь твои же плети.

⁷² Данаиды — в греческой мифологии дочери царя Даная; за убийство мужей боги наказали их, заставив вечно наполнять водой бочку без дна.

Ты – горький пьяница под кровлей кабака,
Чья жажда лишь растет от каждого глотка
И множит головы свои, как гидра Лерны⁷³.

– Но счастлив пьяница, его сразит вино.
Тебе же, Ненависть, о горе, не дано
Забиться под столом в углу глухой таверны.

LXXIV РАЗБИТЫЙ КОЛОКОЛ

Как в ночи зимние и горько и отрадно
В огонь мигающий впереть усталый взгляд,
Колоколов трезвон сквозь мглу внимая жадно,
Забывших призраков будя далекий ряд.

Блажен ты, колокол, когда гортанью грозной
И неслабеющей сквозь сумрак и туман
Далеко разнесен твой крик религиозный,
Когда ты бодрствуешь, как добрый ветеран!

И ты, мой дух, разбит; когда ж, изныв от скуки,
Ты в холод сумрака пошлешь ночные звуки,
Вдруг зычный голос твой слабеет, изменив;

Так в груди мертвых тел повергнутый в сраженьи,
Хрипя, бросает нам отчаянный призыв,
Не в силах двинуться в безмерном напряженьи.

LXXV СПЛИН

Вот всякой жизни враг заклятый, Плювиоз⁷⁴
На бледных жителей кладбища холод черный
Из урны щедро льет, и вот волной тлетворной
Уничтожение в предместьях разлилось.

Неугомонный кот, весь тощий, шелудивый,
К подстилке тянется; под кровлей чердака

⁷³ *Гидра Лерны* — в греческой мифологии дракон, обитавший в окрестностях Лерны, из девяти голов этого чудовища одна была бессмертной, поэтому, когда Геракл отрубал одну из голов, на ее месте вырастали две.

⁷⁴ *Плювиоз* — второй зимний месяц (21 января — 20 февраля) по календарю, установленному во время Великой французской революции; букв.: дождливый (*фр.*).

Поэта бродит дух забытый, сиротливый:
Как зыбкой тени плач, тиха его тоска.

Рыдает колокол, дымящие поленья
Часам простуженным чуть вторят фистулой⁷⁵;
Весь день за картами, где слышен запах тленья –

Наследье жалкое давнишней водяной –
Валет и дама пик с тоскою сожаленья
О мертвой их любви болтают меж собой.

LXXVI СПЛИН

Душа, тобою жизнь столетий прожита!

Огромный шкаф, где спят забытые счета,
Где склад старинных дел, романсов позабытых,
Записок и кудрей, расписками обвитых,
Скрывает меньше тайн, чем дух печальный мой.
Он – пирамида, склеп бездонный, полный тьмой,
Он больше трупов скрыл, чем братская могила.
Я – кладбище, чей сон луна давно забыла,
Где черви длинные, как угрызений клуб,
Влачатся, чтоб точить любезный сердцу труп;
Я – старый будуар, весь полный роз поблеклых
И позабытых мод, где в запыленных стеклах
Пастели грустные и бледные Буше
Впивают аромат... И вот в моей душе
Бредут хромые дни неверными шагами,
И, вся оснежена погибших лет клоками,
Тоска, унынья плод, тираня скорбный дух,
Размеры страшные бессмертья примет вдруг.

Кусок материи живой, ты будешь вечно
Гранитом меж валов пучины бесконечной,
Вкушающим в песках Сахары мертвый сон!
Ты, как забытый сфинкс, на карты не внесен, –
Чья грудь свирепая, страшась тепла и света,
Лишь меркнувшим лучам возносит гимн привета!

LXXVII СПЛИН

⁷⁵ Вторят фистулой... — фальцетом.

Я – сумрачный король страны всегда дождливой,
Бессильный юноша и старец прозорливый,
Давно презревший лесть советников своих,
Скучающий меж псов, как меж зверей иных;
Ни сокол лучший мой, ни гул предсмертных стонов
Народа, павшего в виду моих балконов,
Ни песнь забавная любимого шута
Не прояснят чело, не разомкнут уста;
Моя постель в гербах цветет, как холм могильный;
Толпы изысканных придворных дам бессильны
Изобрести такой бесстыдный туалет,
Чтоб улыбнулся им бесчувственный скелет;
Добывший золото, Алхимик мой ни разу
Не мог исторгнуть прочь проклятую заразу;
Кротовых римских ванн целительный бальзам,
Желанный издавна дряхлеющим царям,
Не может отогреть холодного скелета,
Где льется медленно струей зеленой Лета.

LXXVIII СПЛИН

Когда небесный свод, как низкий склеп, сжимает
Мой дух стенающий и, мир обвив кольцом,
На землю черный день угрюмо проливает
Суровый горизонт, нависнувший свинцом;

Когда весь этот мир – одна тюрьма сырая,
Где, словно нетопырь, во мгле чертя излом,
Надежда носится, пугливо ударяя
В подгнивший потолок мятущимся крылом;

Когда, как бы пруты решетки бесконечной,
Свинцовые струи дождя туманят взор
И стаи пауков в жестокости беспечной
Ткут у меня в мозгу проклятый свой узор:

Вдруг грянет зычный хор колоколов огромных,
И страшен бешеный размах колоколов:
То – сонмы грешных душ, погибших и бездомных
Возносят до небес неукротимый рев.

Тогда без музыки, как траурные дроги,
Безмолвно шествуют Надежды в вечный мрак,
И призрак Ужаса, и царственный и строгий,
Склоняясь на череп мой, колеблет черный стяг.

LXXIX НЕОТВЯЗНОЕ

Леса дремучие, вы мрачны, как соборы,
Печален, как орган, ваш грозный вопль и шум
В сердцах отверженных, где вечен траур дум,
Как эхо хриплое, чуть внятны ваши хоры.

Проклятый океан! В безбрежной глубине
Мой дух нашел в себе твоих валов скаканье;
Твой хохот яростный и горькое рыданье
Мой смех, мой скорбный вопль напоминают мне.

Я был бы твой, о Ночь! Но в сердце льет волненье
Твоих созвездий свет, как прежде, с высоты, –
А я ищу лишь тьмы, я жажду пустоты!

Но тьма – лишь холст пустой, где, полный умиления,
Я узнаю давно погибшие виденья –
Их взгляды нежные, их милые черты!

LXXX ЖАЖДА НЕБЫТИЯ

О скорбный, мрачный дух, что вскормлен был борьбой,
Язвимый шпорами Надежды, бурный, властный,
Бессильный без нее! Пади во мрак ненастный,
Ты, лошадь старая с хромящей ногой.

Смирись же, дряхлый дух, и спи, как зверь лесной!

Как старый мародер, ты бродишь безучастно!
Ты не зовешь любви, как не стремишься в бой;
Прощайте, радости! Ты полон злобной тьмой!
Прощайте, флейты вздох и меди гром согласный!

Уж над тобой Весны бессилен запах страстный!

Как труп, захваченный лавиной снеговой,
Я в бездну Времени спускаюсь ежечасно;
В своей округлости весь мир мне виден ясно,
Но я не в нем ищу приют последний свой!

Обвал, рази меня и увлеку с собой!

LXXXI
АЛХИМИЯ ГОРЯ

Чужим огнем озарена,
Чужих печалей отраженье,
Природа, ты одним дана
Как жизнь, другим – как погребенье!

Ты мой Гермес, мой вечный сон;
В Мидаса⁷⁶ я твоею силой
Непостижимо превращен,
Как он, алхимик я унылый;

Тобою зачарован, взгляд
В железо злато превращает
И рай лучистый – в черный ад;

Он саркофаги воздвигает
Среди небесных берегов,
Он видит труп меж облаков.

LXXXII
МАНЯЩИЙ УЖАС

«Какие помыслы гурьбой
Со свода бледного сползают,
Чем дух мятежный твой питают
В твоей груди, давно пустой?»

– Ненасытимый разум мой
Давно лишь мрак благословляет;
Он, как Овидий, не стенает,⁷⁷
Утратив рай латинский свой!

Ты, свод торжественный и строгий,
Разорванный, как брег морской,
Где, словно траурные дроги,

Влачится туч зловещий строй,
И ты, зарница, отблеск Ада, –

⁷⁶ *Мидас* — царь Фригии, славившийся своим богатством; в награду за освобождение Силена Дионис наградил его даром превращать в золото все, к чему он прикоснется.

⁷⁷ *Он, как Овидий, не стенает...* — Образ «северной ссылки» римского поэта Овидия, по всей видимости, навеян картиной Э.Делакруа «Овидий у скифов», выставленной на осеннем Салоне 1859 г.

Одни душе пустой отрада!

LXXXIII
САМОБИЧЕВАНИЕ⁷⁸

К Ж.Ж.Ф.

Я поражу тебя без злобы,
Как Моисей твердыню скал,⁷⁹
Чтоб ты могла рыдать и чтобы
Опять страданий ток сверкал,

Чтоб он поил пески Сахары
Соленой влагой горьких слез,
Чтоб все мечты, желанья, чары
Их бурный ток с собой унес

В простор безбрежный океана;
Чтоб скорбь на сердце улеглась,
Чтоб в нем, как грохот барабана,
Твоя печаль отозвалась.

Я был фальшивою струной,
С небес симфонией неслитной;
Насмешкой злобы ненасытной
Истерзан дух погибший мой.

Она с моим слилася стоном,
Вмешалась в кровь, как черный яд;
Во мне, как в зеркале бездонном,
Мегеры отразился взгляд!

Я – нож, проливший кровь, и рана,
Удар в лицо и боль щеки,
Орудье пытки, тел куски;
Я – жертвы стон и смех тирана!

Отвергнут всеми навсегда,
Я стал души своей вампиром,
Всегда смеясь над целым миром,
Не улыбаясь никогда!

⁷⁸ В оригинале название этого стихотворения звучит как «Гэаутонтиморуменос» — сам себя истязующий (*греч.*), так называется и комедия Теренция.

⁷⁹ ...как Моисей твердыню скал... — Речь идет об известном библейском мотиве: когда на пути в Палестину измученные жаждой евреи грозили побить Моисея камнями, тот воззвал к Господу. «И рек Господь... Жезл... возми в руку твою... и удариши в камень: и изыдет из него вода, и да пьют людие...» (Исход, 17. 4–6).

LXXXIV
НЕИСЦЕЛИМОЕ

I

Идея, Форма, Существо,
Слетев с лазури к жизни новой,
Вдруг упадают в Стикс свинцовый,
Где все и слепо и мертво:

Вот Ангел, как пловец наивный,
В уродстве ищет новых чар,
Борясь с волною непрерывной,
Нырнув в чудовищный кошмар;

Пред ним встает во мгле унылой
Кружащийся водоворот;
Взметнувшись с бешеною силой,
Он, как безумных хор, ревет.

Вот, околдован чарой властной,
Блуждает путник наугад,
Но тщетно ловит луч неясный
В аду, где к гаду липнет гад;

Сходя без лампы в мрак бездонный
Вниз по ступенькам без перил,
В сырую бездну осужденный
Свой взор трепещущий вперил;

Под ним – чудовищ скользких стая;
Вокруг от блеска их зрачков
Еще чернее ночь густая,
Невыносимей гнет оков.

Корабль на полюсе далеком,
Со всей вселенной разлучен,
В тюрьме кристальной заключен
И увлечен незримым током.

Пускай же в них прочтут сердца
Неисцелимого эмблемы:
Лишь Дьявол, где бессильны все мы,
Все довершает до конца!

II

То дух, своим зеркалом ставший,
Колодезь Правды, навсегда

И свет и сумрак сочетавший,
И где кровавится звезда,

То – полный чары светоч ада,
Маяк в мирах, где властна мгла,
Покой, и слава, и отрада –
Восторг сознания в бездне зла!

LXXXV
ЧАСЫ⁸⁰

Часы! Угрюмый бог, ужасный и бесстрастный,
Что шепчет: «Вспомни все!» – и нам перстом грозит,
И вот, как стрелы – цель, рой Горестей пронзит
Дрожащим острием своим тебя, несчастный!

Как в глубину кулис – волшебное виденье,
Вдруг Радость светлая умчится вдаль, и вот
За мигом новый миг безжалостно пожрет
Все данные тебе судьбою наслажденья!

Три тысячи шестьсот секунд, все ежечасно:
«Все вспомни!» – шепчут мне, как насекомых рой;
Вдруг Настоящее жужжит передо мной:
«Я – прошлое твое; я жизнь сосу, несчастный!»

Все языки теперь гремят в моей гортани:
«Remember, esto memor»⁸¹, – говорят;
О, бойся пропустить минут летящих ряд,
С них не собрав, как с руд, всей золотой их дани!

О, вспомни: с Временем тягаться бесполезно;
Оно – играющий без промаха игрок.
Ночная тень растет, и убывает срок;
В часах иссяк песок, и вечно алчет бездна.

Вот, вот – ударит час, когда воскликнут грозно
Тобой презренная супруга, Чистота,
Рок и Раскаянье (последняя мечта!):
«Погибни, жалкий трус! О, поздно, слишком поздно!»:

⁸⁰ Это стихотворение связано с образами рассказа Э. По «Маска красной смерти», переведенного поэтом в 1855 г.: «А когда пробегали шестьдесят минут — три тысячи шестьсот секунд быстротечного времени — и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство и собравшимися овладевали смятение и тревога».

⁸¹ *Remember, esto memor...* — помни (англ., лат.).

КАРТИНЫ ПАРИЖА⁸²

LXXXVI ПЕЙЗАЖ

О, если б мог и я, чтоб петь свои эклоги,
Спать ближе к небесам, как спали астрологи;
У колоколен жить, чтоб сердцем, полным снов,
Впивать торжественный трезвон колоколов;
Иль, подпершись рукой, с мансарды одинокой
Жизнь мастерской следить и слушать гул далекий,
И созерцать церквей и труб недвижный лес, –
Мечтать о вечности, взирая в глубь небес.

Как сладко сердцу там, в туманной пелене,
Ждать первую звезду и лампу на окне,
Следить, как черный дым плывет в простор клубами,
Как бледная луна чарует мир лучами.
Я жажду осени и лета и весны.
Когда ж придет зима спугнуть уныньем сны,
Задержав шторами скорее мрак холодный,
Я чудные дворцы создам мечтой свободной;
Увижу голубой, широкий кругозор,
Сады, фонтанов плач, причудливый узор
Бассейнов; резвых птиц услышу щебетанье
И нежных, жарких уст согласное слиянье...
Опять идиллию мне греза воскресит;
Пусть вьюга яростно в мое окно стучит,
Не подниму чела, охвачен сладкой страстью –
Опять вернуть к себе Весну своею властью,
Из сердца жаркого луч солнца источить
И ласку теплую мечты кругом разлить.

LXXXVII СОЛНЦЕ

В предместье, где висит на окнах ставней ряд,
Прикрыв таинственно-заманчивой разврат,
Лишь солнце высыплет безжалостные стрелы
На крыши города, поля, на колос зрелый –
Бреду, свободу дав причудливым мечтам,
И рифмы стройные срываю здесь и там;
То, как скользящею ногой на мостовую,

⁸² Этот раздел цикла «Цветы зла» был введен поэтом во второе издание: Бодлер взял восемь стихотворений из раздела «Сплин и идеал» и добавил к ним десять новых, созданных с 1857 по 1861 г.

Наткнувшись на слова, сложу строфу иную.

О свет питательный, ты гонишь прочь хлороз,
Ты рифмы пышные растишь, как купы роз,
Ты испарить спешишь тоску в просторы свода,
Наполнить головы и улы соком меда;
Ты молодишь калек разбитых, без конца
Сердца их радуя, как девушек сердца;
Все нивы пышные тобой, о Солнце, зреют,
Твои лучи в сердцах бессмертных всходы греют.

Ты, Солнце, как поэт нисходишь в города,
Чтоб вещи низкие очистить навсегда;
Бесшумно ты себе везде найдешь дорогу –
К больнице сумрачной и к царскому чертогу!

LXXXVIII РЫЖЕЙ НИЩЕНКЕ⁸³

Белая девушка с рыжей головкой,
Ты сквозь лохмотья лукавой уловкой
Всем обнажаешь свою нищету
И красоту.

Тело веснушками всюду покрыто,
Но для поэта с душою разбитой,
Полное всяких недугов, оно
Чары полно!

Носишь ты, блеск презирая мишурный,
Словно царица из сказки – котурны,
Два деревянных своих башмака,
Стройно-легка.

Если бы мог на тебе увидеть я
Вместо лохмотьев – придворного платья
Складки, облекшие, словно струи,
Ножки твои;

Если бы там, где чулочек дырявый
Щеголей праздных собирает оравы,
Золотом ножку украсил и сжал
Тонкий кинжал;

Если б, узлам непослушны неровным,
Вдруг обнажившись пред взором греховным,

⁸³ Героиня этого стихотворения — реальное лицо. В Лувре хранится ее портрет, написанный Э. Дерау.

Полные груди блеснули хоть раз
Парою глаз;

Если б просить ты заставить умела
Всех, кто к тебе прикасается смело,
Прочь отгоняя бесстрашно вокруг
Шалость их рук:

Много жемчужин, камней драгоценных,
Много сонетов Бело⁸⁴ совершенных
Стали б тебе предлагать без конца
Верных сердца;

Штат рифмачей с кипой новых творений
Стал бы тесниться у пышных ступеней,
Дерзко ловил бы их страстный зрачок
Твой башмачок;

Вкруг бы теснились пажы и сеньоры,
Много Ронсаров⁸⁵ вперяли бы взоры,
Жадно ища вдохновения, в твой
Пышный покой!

Чары б роскошного ложа таили
Больше горячих лобзаний, чем лилий,
И не один Валуа⁸⁶ в твою власть
Мог бы попасть!

Ныне ж ты нищенкой бродишь голодной,
Хлам собирая давно уж негодный,
На перекрестках, продрогшая вся,
Робко прося;

На безделушки в четыре сантимата
Смотришь ты с завистью, шествуя мимо,
Но не могу я тебе, о прости!
Их поднести!

Что же? Пускай без иных украшений,
Без ароматов иных и камней
Тощая блещет твоя нагота,
О красота!

LXXXIX

⁸⁴ Бело Реми (1528–1577) — поэт круга Ронсара.

⁸⁵ Ронсар Пьер (1524–1585) — выдающийся поэт XVI в.

⁸⁶ Валуа — короли Франции из династии Валуа.

ЛЕБЕДЬ⁸⁷

Виктору Гюго

I

Я о тебе одной мечтаю, Андромаха⁸⁸,
Бродя задумчиво по новой Карусель⁸⁹,
Где скудный ручеек, иссякший в груди праха,
Вновь оживил мечту, бесплодную досель.

О, лживый Симоис⁹⁰, как зеркало живое
Ты прежде отражал в себе печаль вдовы.
Где старый мой Париж!.. Трудней забыть былое,
Чем внешность города пересоздать! Увы!..

Я созерцаю вновь кругом ряды барачков,
Обломки ветхие распавшихся колонн,
В воде зацветших луж ищу я тленья знаков,
Смотрю на старый хлам в витринах у окон.

Здесь прежде, помнится, зверинец был построен;
Здесь, помню, видел я среди холодной мглы,
Когда проснулся Труд, и воздух был спокоен,
Но пыли целый смерч взвивался от метлы,

Больного лебедя; он вырвался из клетки
И, тщетно лапами сухую пыль скребя
И по сухим буграм свой пух роняя редкий,
Искал, раскрывши клюв, иссохшего ручья.

В пыли давно уже пустого водоема
Купая трепет крыл, все сердце истомив
Мечтой об озере, он ждал дождя и грома,
Возникнув предо мной, как странно-вещий миф.

Как муж Овидия⁹¹, в небесные просторы
Он поднял голову и шею, сколько мог,

⁸⁷ Это стихотворение было направлено Бодлером Виктору Гюго, находившемуся в изгнании. 7 декабря 1859 г. Гюго ответил поэту: «Как и во всем, что вы делаете, в вашем „Лебеде" есть идея. Как и все истинные идеи, она отличается глубиной...»

⁸⁸ *Андромаха* — в греческой мифологии супруга героя Троянской войны Гектора (см. Вергилий. «Энеида». Песнь третья); героиня одноименной трагедии Расина.

⁸⁹ *Карусель* — парижская площадь, расположенная неподалеку от Лувра.

⁹⁰ *Лживый Симоис* (Симон) — ручеек, напоминавший плененной Андромаче о реке, протекавшей у стен Трои.

⁹¹ *Как муж Овидия...* — Бодлер имеет в виду строки из «Метаморфоз» Овидия о человеке, которому создатель вещей даровал возможность «лицезреть небо и с поднятым челом к звездам обращаться» (Метаморфозы, I, 85–86).

И в небо слал свои бессильные укоры –
Но был небесный свод насмешлив, нем и строг.

II

Париж меняется – но неизменно горе;
Фасады новые, помосты и леса,
Предместья старые – все полно аллегорий
Для духа, что мечтам о прошлом отдался.

Воспоминания, вы тяжелей, чем скалы;
Близ Лувра грезится мне призрак дорогой,
Я вижу лебедя: безумный и усталый,
Он предан весь мечте, великий и смешной.

Я о тебе тогда мечтаю, Андромаха!
Супруга, Гектора предавшая, увы!
Склоняюсь над урной, где нет святого праха,
Ты на челе своем хранишь печаль вдовы;

– О негритянке той, чьи ноги тощи, босы:
Слабеет вздох в ее чахоточной груди,
И гордой Африки ей грезятся кокосы,
Но лишь туман встает стеною впереди;

– О всех, кто жар души растратил безвозвратно,
Кто захлебнуться рад, глотая слез поток,
Кто волчью грудь Тоски готов сосать развратно,
О всех, кто сир и гол, кто вянет, как цветок!

В лесу изгнания брожу, в тоске упорный,
И вас, забытые среди пустыни вод,
Вас, павших, пленников, как долгий зов валторны,
Воспоминание погибшее зовет.

XC СЕМЬ СТАРИКОВ⁹²

Виктору Гюго

О город, где плывут кишащих снов потоки,
Где сонмы призраков снуют при свете дня,
Где тайны страшные везде текут, как соки
Каналов городских, пугая и дразня!

⁹² Это стихотворение вместе со следующим («Маленькие старушки») было послано Виктору Гюго 27 сентября 1859 г. Ответ гласил: «Вы щедро одарили небеса искусства, осветив их бог весть каким мрачным лучом. В поэзии вы создаете новый трепет».

Я шел в час утренний по улице унылой,
Вкруг удлинял туман фасадов высоту,
Как берега реки, возросшей с страшной силой;
Как украшение, приличное шуту,

Он грязно-желтой все закутал пеленою;
Я брел, в беседу сам с собою погружен,
Подобный павшему, усталому герою;
И громыхал вдали по мостовой фургон.

Вдруг вырос предо мной старик, смешно одетый
В лохмотья желтые, как в клочья облаков,
Простого нищего имея все приметы;
Горело бешенство в огне его зрачков;

Таким явился он неведомо откуда,
Со взором, режущим, как инея игла,
И борода его, как борода Иуды,
Внизу рапирою заострена была.

С ногами дряблыми прямым углом сходилась
Его хребет; он был не сгорблен, а разбит;
На палку опершись, он мимо волочился,
Как зверь подшибленный или трехногий жид.

Он, спотыкаясь, брел неверными шагами
И, ковыляя, грязь и мокрый снег месил,
Ярясь на целый мир; казалось, сапогами
Он трупы сгнившие давил что было сил.

За ним – его двойник, с такой же желчью взгляда,
С такой же палкою и сломанной спиной:
Два странных призрака из общей бездны ада,
Как будто близнецы, явились предо мной.

Что за позорная и страшная атака?
Какой игрой Судьбы я схвачен был в тот миг?
Я до семи дочел душою, полной мрака:
Семь раз проследовал нахмуренный старик.

Ты улыбаешься над ужасом тревоги,
Тебя сочувствие и трепет не томит;
Но верь, все эти семь едва влачивших ноги,
Семь гнусных призраков являли вечный вид!

Упал бы замертво я, увидав восьмого,
Чей взор насмешливый и облик были б те ж!
Злой Феникс⁹³, канувший, чтоб вдруг возникнуть снова,

⁹³ Феникс — волшебная птица, возрождающаяся из пепла.

Я стал к тебе спиной, о дьявольский кортеж!

С душой, смятенною под властью раздвоенья,
Как жалкий пьяница, от страха чуть дыша,
Я поспешил домой; томили мозг виденья,
Нелепой тайною смущалася душа.

Мой потрясенный дух искал напрасно мели;
Его, шутя, увлек свирепый ураган,
Как ветхую ладью, кружа в пылу похмелий,
И бросил, изломав, в безбрежный океан.

ХСІ МАЛЕНЬКИЕ СТАРУШКИ

Виктору Гюго

I

В кривых извилинах старинных городов,
Где даже ужасы полны очарованья,
По воле рока я следить весь день готов
За вами, странные, но милые созданья!

Калеки жалкие с горбатою спиной,
Ужель, чудовища, вы женщинами были,
Звались Лаисами⁹⁴? Так что ж, – под наготой
Живую душу вы и ныне сохранили...

Меж omnibusами, средь шума, темноты
Ползете вы, к груди, как мощи, прижимая
Сумы, где ребусы нашиты и цветы;
И ветер вас знобит, лохмотья продувая.

Как марионеток ряд, трусите вы рысцой;
То зверем раненым вприпрыжку прочь бежите,
То сразу, нехотя танцуя, задрожите,
Как колокольчики под Дьявола рукой.

У вас глаза – бурав; сквозь мрак ночной, ненастный,
Как лужи с сонною водой, они блестят;
То – как глаза детей, божественно-прекрасны,
Где каждый легкий блеск чарует нежный взгляд.

Я знаю, – гробики старух бывают малы,
Как гробики детей. Смерть, сумрачный мудрец,

⁹⁴ *Лаисы* — Бодлер здесь употребляет имя двух греческих гетер в качестве нарицательного.

В том сходстве символ нам открыла небывалый,
Равно заманчивый для всех больных сердец.

Когда передо мной, бывало, тень больная
На людной улице Парижа проскользнет,
Я горько думаю, что колыбель иная
Бедняжку дряхлую на дне могилы ждет.

Тогда при виде их мой ум изобретает
Геометрически построенный расчет,
Как много гробовщик различных форм сменяет,
Пока все части гроб в одно не соберет.

Глаза, где слез ручьи колодези прорыли,
Где, словно в тигеле, застыв, блестит металл!..
Но тот, чью грудь одни несчастья вскормили,
Непобедимую в вас прелесть прочитал!

II

Весталка древнего Фраската⁹⁵ или жрица
Воздушной Талии, чье имя знал суфлер,
Ты, что среди похвал умела позабыться
И цветом Тиволи⁹⁶ считалась с давних пор!

Вы упивались все... Есть между вас иные,
Что, горе полюбив как самый сладкий мед,
Сказали, все презрев: «Пусть в небеса родные
На крыльях подвига нас Гипогриф снесет!»

Одна за родину любезную страдала;
Та мужем без вины истерзана была;
А та Мадонною, мечом пронзенной, стала...
Из ваших слез река составиться б могла!

III

Мне помнится одна из них... Она садилась
Поодаль на скамью в тот час, когда вдали
Все небо язвами багровыми светилось
И солнца красный диск склонялся до земли.

Вдали гремел оркестр – и волны звуков медных
Вкруг затопляли сад, а вечер золотой
В нас зажигал сердца под рокот труб победных
Какой-то смутною и гордою мечтой.

⁹⁵ *Фраскат* (Фраскати) — игорный дом в Париже, где также проводились балы. Существовал до 1836 г.

⁹⁶ *Тиволи* — популярный парк, место развлечений парижан в середине XIX в.

Еще не сгорбившись, с осанкой гордой, чинной
Она впивала гром торжественных литавр,
Далёко в забытыи вперяя взор орлиный,
С челом из мрамора, что мог венчать лишь лавр!

IV

Куда по хаосу столиц плететесь вы,
Грустя безропотно, страдалицы святые,
И те, чьи имена лелеял шум молвы,
И те, чью грудь давно разбили бури злые?

Но ваши дни прошли; забыты без следа,
Кто грацией пленял и был венчаем славой;
Вас оскорбить готов насмешник без стыда,
Мальчишки злые вас преследуют оравой!

С согбенною спиной плететесь вы, стыдясь;
Вам не шепнет никто теперь привет сердечный!
О вы, развалины, повергнутые в грязь,
Уже созревшие для жизни бесконечной!

С заботой нежною я издали люблю
За вами следовать, как спутник ваш случайный;
Я, как родной отец, ваш каждый шаг ловлю,
Я созерцаю вас, восторг впивая тайный!

Паденья первые мой воскрешает взор,
Погибших дней и блеск и тьму я вижу снова;
Душа полна лучей великого былого,
Переживая вновь страстей былых позор.

О души дряхлые, моей душе родные,
Шлю каждый вечер вам торжественный привет...
О Евы жалкие восьмидесяти лет!..
Над вами длань Творца и когти роковые!

ХСII СЛЕПЦЫ

Душа, смотри на них; они ужасны... Да!
Как манекен, смешны, сомнамбулы страшнее,
Но тем в безвестный мрак вонзаются сильнее
Зрочки, где луч небес померкнул навсегда;

Их очи смотрят вдаль, глава их ввысь поднята;
Они не клонятся над шаткой мостовой
Отягощенною раздумьем головой;
Безмолвие и мрак, как два ужасных брата,

Нигде не ведая начала и конца,
Зияют на пути безумного слепца;
Когда же заревет пред ними город шумный, –

Восторг мучительный и жгучий затая,
Несчастный, как слепцы, слепцам бросаю я:
«Что ищет в небесах, слепцы, ваш взор безумный?»

ХСШ ПРОХОЖЕЙ

Ревела улица, гремя со всех сторон.
В глубоком трауре, стан тонкий изгибая,
Вдруг мимо женщина прошла, едва качая
Рукою пышною край платья и фестон,

С осанкой гордою, с ногами древних статуй...
Безумно скорчившись, я пил в ее зрачках,
Как бурю грозную в багровых облаках,
Блаженство дивных чар, желаний яд проклятый!

Блистанье молнии... и снова мрак ночной!
Взор Красоты, на миг мелькнувшей мне случайно!
Быть может, в вечности мы свидимся с тобой;

Быть может, никогда! и вот осталось тайной,
Куда исчезла ты в безмолвье темноты.
Тебя любил бы я – и это знала ты!

ХСIV СКЕЛЕТЫ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

I

На грязных набережных, среди пыльных
Анатомических таблиц,
Средь книг, как мумии гробниц,
Истлевших в сумерках могильных,

Я зачарован был не раз
Одной печальной картиной:
В ней кисти грубой и старинной
Штрихи приковывали глаз;

Нездешним ужасом объятый,
Я видел там скелетов ряд:
Они над пашнею стоят,
Ногами упершись в лопаты.

II

Трудясь над пашнею иной,
Вы, жалкая добыча тленья,
Все так же полны напряженья
Своей ободранной спиной?

Как к тачке каторжные цепями,
Там пригвожденные давно,
Скажите мне, кому гумно
Вы устилаете снопами?

Возникнул ваш истлевший строй
Эмблемой ужаса пред нами;
Иль даже там, в могильной яме
Не тверд обещанный покой?

Иль даже царство смерти лжет,
Небытие – непостоянно,
И тот же жребий окаянный
И в самой вечности нас ждет,

И мы, над тяжкою лопатой
Согбенные, в стране иной
Окровавленную ногой
Придавим заступ свой проклятый?

XCIV
ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер пленительный, друг преступленья,
К нам крадется волчьей, коварной стопой;
Задернут небесный альков над толпой,
И в каждом, как в звере, горит исступленье.

О вечер, тебя с тайной радостью ждал,
Кто потные руки весь день натруждал,
Кто с тихим забвеньем склонится к покою,
Снедаемый жгучей, безумной тоскою,
Кто никнет над книгой с тяжелым челом,
Кто ищет постели, разбитый трудом!

Вот демоны, полные вечной заботы,
Проснулись, очнулись от тяжелой дремоты;

Несутся – и в крыши и в ставни стучат;
Ночные огни зажигает Разврат,
Колышет и гасит их ветер свирепый;
Вот двери свои раскрывают вертепы,
Живой муравейник, волнуясь, кишит
И путь проложить себе тайный спешит;
Копошится, бьется на улицах грязных,
Свиваясь, как клубы червей безобразных.
Чу – слышится кухонь шипенье вокруг;
Хрипящий со сцены доносится звук;
Притоны, что манят азартной игрою,
Заполнены жадной, развратной толпою;
Там моты, кокотки и воры сошлись
И дружно за промысел гнусный взялись;
Взломали рукою искусною воры
У кассы замки и дверные затворы;
Все прожито нынче, что взято вчера.
О сердце, забытья настала пора!
Оглохни же, слушая эти рыканья!
Но к ночи язвительней горечь страданья,
Больных сумрак ночи за горло берет,
Пасть в общую бездну пришел их черед;
Больницы наполнены звуками стога;
Напрасно... над чашкой душистой бульона
Не встретить вам ту, что душе дорога;
Вам чужды и сладость и свет очага!..

ХСVI ИГРА

На креслах выцветших они сидят кругом,
Кокотки старые с поддельными бровями,
Лениво поводя насмешливым зрачком,
Бряцая длинными, блестящими серьгами;

К сукну зеленому приближен длинный ряд
Беззубых челюстей и ртов, подобных ранам;
Их руки адскою горячкою горят,
Трепещут на груди и тянутся к карманам;

С плафона грязного лучи обильно льет
Ряд люстр мерцающих, чудовищных кинкетов
На хмурое чело прославленных поэтов,
Сюда собравшихся пролить кровавый пот.

В ночных виденьях сна я был картиной черной,
Как ясновидящий, нежданно поражен;
На локоть опершись, в молчанье погружен,
Я сам сидел в углу бесчувственный, упорный,

И я завидовал, клянусь, толпе блудниц,
Что, страстью схвачена, безумно ликовала,
Погибшей красотой и честью торговала
И страшной радости не ведала границ.

Но ужаснулся я и, завистью пылая,
Смотрел, как свора их, впивая кровь свою,
Стремится к пропасти зияющей, желая
И муки предпочесть и ад – небытию!

XCVII ПЛЯСКА СМЕРТИ⁹⁷

Эрнесту Кристофу

С осанкой важною, как некогда живая,
С платком, перчатками, держа в руке букет,
Кокетка тощая, красоты укрывая,
Она развязностью своей прельщает свет.

Ты тоньше талию встречал ли в вихре бала?
Одежды царственной волна со всех сторон
На ноги тощие торжественно ниспала,
На башмачке расцвел причудливый помпон.

Как трется ручеек о скалы похотливо,
Вокруг ее ключиц живая кисея
Шуршит и движется, от шуток злых стыдливо
Могильных прелестей приманки утая.

Глаза бездонные чернеют пустотою,
И череп зыблется на хрупких позвонках,
В гирлянды убранный искусною рукою;
О блеск ничтожества, пустой, нарядный прах!

Карикатурою тебя зовет за это
Непосвященный ум, что, плотью опьянен,
Не в силах оценить изящество скелета –
Но мой тончайший вкус тобой, скелет, пленен!

Ты здесь затем, чтоб вдруг ужасная гримаса
Смутила жизни пир? иль вновь живой скелет,
Лишь ты, как некогда, надеждам отдалася,
На шабаш повлекли желанья прежних лет?

⁹⁷ Стихотворение навеяно статуэткой Э. Кристофа «Скелет», выставленной на осеннем Салоне 1859 г.

Под тихий плач смычка, при ярком свеч дрожаньи
Ты хочешь отогнать насмешливый кошмар,
Потоком оргии залить свои страданья
И погасить в груди зажженный адом жар?

Неисчерпаемый колодезь заблуждений!
Пучина горестей без грани и без дна!
Сквозь сеть костей твоих и в вихре опьянений
Ненасытимая змея глазам видна!

Узнай же истину: нигде твое кокетство
Достойно оценить не сможет смертный взгляд;
Казнить насмешкою сердца – смешное средство,
И чары ужаса лишь сильных опьянят!

Ты пеной бешенства у всех омыла губы,
От бездны этих глаз мутится каждый взор,
Все тридцать два твои оскаленные зуба
Смеются над тобой, расчетливый танцор!

Меж тем, скажите, кто не обнимал скелета,
Кто не вкусил хоть раз могильного плода?
Что благовония, что роскошь туалета?
Душа брезгливая собою лишь горда.

О ты, безноса, смешная баядера⁹⁸!
Вмешайся в их толпу, шепни им свой совет.
«Искусству пудриться, друзья, ведь есть же мера,
Пропахли смертью вы, как мускусом скелет!

Вы, денди лысые, седые Антиной⁹⁹,
Вы, трупы сгнившие, с которых сходит лак!
Весь мир качается под пляшущей пятою,
То – пляска Смерти вас несет в безвестный мрак!

От Сены набережных и до знойных стран Гангеса¹⁰⁰
Бегут стада людей, бросая в небо стон,
А там – небесная разодрана завеса:
Труба Архангела глядит, как мушкетон.

Под каждым климатом, у каждой грани мира
Над человеческой ничтожною толпой
Всегда глумится Смерть, как благовонья мира,
В безумие людей вливая хохот свой!»

⁹⁸ *Баядера* — танцовщица в индийском храме.

⁹⁹ *Антиной* — имя этого римского юноши, любимца императора Адриана, стало синонимом красоты.

¹⁰⁰ *Гангес* — Ганг.

ХСVIII САМООБМАН

Когда ты небрежно и плавно ступаешь
В ритм звуков, разбитых о низкий плафон,
И стан гармонический тихо склоняешь,
Твой взор бесконечной тоской углублен;

Облитое волнами мертвого газа,
Пленительно бледное это чело,
Где пламя вечернее зорю зажгло,
Как взоры портрета, два грустные глаза;

Я знаю, забытые грезы твои
Возносятся царственно башней зубчатой,
И спелое сердце, как персик помятый,
Уж просит и поздней и мудрой любви.

Ты – плод ароматный, роскошный, осенний,
Надгробная урна, просящая слез,
Далеких оазисов запах весенний,
Иль ложе – иль просто корзина для роз?

Есть грустные очи без тайн и чудес:
Их взгляды чаруют, как блеск драгоценный
Оправы без камня, вид раки священной,
Пустой, как безбрежные своды небес.

Но сердце, что правды жестокой страшится,
Пленяется призрачно-лживой мечтой,
И в шутку пустую готово влюбиться,
И жаждет склониться пред маской простой!

ХСIX

Средь шума города всегда передо мной
Наш домик беленький с уютной тишиной;
Разбитый алебастр Венеры и Помоны¹⁰¹,
Слегка укрывшийся в тень рощицы зеленой,
И солнце гордое, едва померкнет свет,
С небес глядящее на длинный наш обед,
Как любопытное, внимательное око;
В окне разбитый сноп дрожащего потока;
На чистом пологе, на скатерти лучей

¹⁰¹ *Помона* — богиня садов в Древнем Риме.

Живые отблески, как отсветы свечей.

С

Служанка верная с душою благородной!
Ты под ковром травы вкушаешь сон холодный;
Наш долг – снести тебе хоть маленький букет.
Усопших ждет в земле так много горьких бед;
Когда вздохнет Октябрь, деревья обрывая
И между мраморов уныло завывая, –
О, как завидуют тогда живым они, –
Их ложу теплomu и ласкам простыни!
Их мысли черные грызут, их сон тревожа;
Никто с усопшими не разделяет ложа;
Скелеты мерзлые, объедки червяков
Лишь чуют мокрый снег и шествие веков;
Не посетит никто их тихие могилы,
Никто не уберет решетки их унылой.

Когда поют дрова в камине фистулой,
На кресле в сумерках с их смутной, серой мглой
Я находил тебя, сидевшую спокойно;
То с миной важною, заботливо-пристойной
Ты появлялась вдруг в сторонке, на ковре
Ночами синими в холодном Декабре;
Как мать вставала ты с своей постели снежной,
Чтоб взрослое дитя согреть заботой нежной,
И из пустых очей роняла капли слез...
Что мог бы я сказать тогда на твой вопрос?

СИ

ТУМАНЫ И ДОЖДИ

И осень позднюю и грязную весну
Я воспевать люблю: они влекут ко сну
Больную грудь и мозг какой-то тайной силой,
Окутав саваном туманов и могилой.

Поля безбрежные, осенних бурь игра,
Всю ночь хрипящие под ветром флюгера
Дороже мне весны; о вас мой дух мечтает,
Он крылья ворона во мраке распластает.

Осыпан инея холодной пеленой,
Пронизан сладостью напевов погребальных,
Он любит созерцать, исполнен грез печальных,

Царица бледная, бесцветный сумрак твой!
Иль в ночь безлунную тоску тревоги тайной
Забуть в объятиях любви, всегда случайной!

СП ПАРИЖСКИЙ СОН

Конст. Гюису¹⁰²

I

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал;
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Мой сон исполнен был видений,
Неописуемых чудес;
В нем мир изменчивых растений
По прихоти мечты исчез;

Художник, в гений свой влюбленный,
Я прихотливо сочетал
В одной картине монотонной
Лишь воду, мрамор и металл;

Дворцы, ступени и аркады
В нем вознеслись, как Вавилон,
В нем низвергались ниц каскады
На золото со всех сторон;

Как тяжкий занавес хрустальный,
Омыв широких стен металл,
В нем ослепительно-кристальный
Строй водопадов ниспадал.

Там, как аллеи, колоннады
Тянулись вокруг немых озер,
Куда гигантские наяды
Свой женственный вперяли взор.

И берег розово-зеленый,
И голубая скатерть вод
До грани мира отдаленной

¹⁰² Гюис (Гис) Константин (1805–1892) — художник, прославившийся великолепными зарисовками парижской жизни. Ему посвящена статья Бодлера «Поэт современной жизни».

Простерлись, уходя вперед!

Сковав невиданные скалы,
Там полог мертвых льдов сверкал,
Исполнен силы небывалой,
Как глубь магических зеркал;

Там Ганги с высоты надзвездной,
Безмолвно восхищая взор,
Излили над алмазной бездной
Сокровища своих амфор!

Я – зодчий сказочного мира –
Тот океан поработал
И море в арки из сафира
Упорством воли возвращал.

Вокруг все искрилось, блистало,
Переливался черный цвет,
И льды оправою кристалла
Удвоили свой пышный свет.

В дали небес не загорались
Ни луч светила, ни звезда,
Но странным блеском озарялись
Чудовищные горы льда!

А надо всем, огнем экстаза
Сжигая дух смятенный мой,
Витало, внятно лишь для глаза,
Молчанье Вечности самой!

II

Когда же вновь я стал собою,
Открыв еще пылавший взор,
Я схвачен был забот гурьбою,
Я видел вкруг один позор.

Как звон суровый, погребальный,
Нежданно полдень прозвучал;
Над косным миром свод печальный
Бесцветный сумрак источал.

СIII СУМЕРКИ УТРА

Уж во дворе казарм труба задрезжала,
Уж пламя фонарей от ветра задрожало.

Вот час, когда ползет больных видений рой
В подушках юношей отравленной мечтой;
Когда, как красный глаз, от лампы свет багровый
Пятно кровавое на день бросает новый,
Когда ослабший дух, с себя свергая плоть,
Как лампы – день, ее не может побороть;
И словно милый лик, где ветер свеял слезы,
В дрожащем воздухе плывут ночные грезы;
Вот час, когда нет сил творить, любить, лобзать.

Над крышами домов уж начал дым всползать;
Но проститутки спят, тяжелым сном обвиты,
Их веки сомкнуты, их губы чуть раскрыты;
Уж жены бедняков на пальцы стали дуть,
Влача к огню свою иссохнувшую грудь;
Вот час, когда среди и голода и стужи
Тоска родильницы еще острее и туже;
И если закричит, пронзив туман, петух,
Его напев, как вопль, залитый кровью, глух.
Туманов океан омыл дома столицы,
Наполнив вздохами холодный мрак больницы,
Где внятнее теперь последний горький стон;
Кутила чуть бредет, работой утомлен.

В наряде розовом и призрачно-зеленом
Заря над Сеною с ее безлюдным лоном
Скользит медлительно, будя Париж, – и вот
Он инструменты вновь заботливо берет.

ВИНО

СІV ДУША ВИНА

В бутылках в поздний час душа вина запела:
«В темнице из стекла меня сдавил сургуч,
Но песнь моя звучит и ввысь несется смело;
В ней обездоленным привет и теплый луч!

О, мне ль не знать того, как много капель пота
И света жгучего прольется на холмы,
Чтоб мне вдохнула жизнь тяжелая работа,
Чтоб я могла за все воздать из недр тюрьмы!

Мне веселей упасть, как в теплую могилу,
В гортань работника, разбитого трудом,
До срока юную растратившего силу,
Чем мерзнуть в погребке, как в склепе ледяном!

Чу – раздались опять воскресные припевы,
Надежда резвая щебечет вновь в груди,
Благослови ж и ты, бедняк, свои посевы
И, над столом склоняясь, на локти припади;

В глазах твоей жены я загорюсь, играя,
У сына бледного зажгу огонь ланит,
И на борьбу с судьбой его струя живая,
Как благовония – атлета, вдохновит.

Я упаду в тебя амброзией священной;
Лишь Вечный Сеятель меня посеять мог,
Чтоб пламень творчества зажегся вдохновенный
И лепестки раскрыл божественный цветок!»

CV ВИНО ТРЯПИЧНИКОВ

При свете красного, слепого фонаря,
Где пламя движется от ветра, чуть горя,
В предместье города, где в лабиринте сложном
Кишат толпы людей в предчувствии тревожном,

Тряпичник шествует, качая головой,
На стену, как поэт, путь направляя свой;
Пускай вокруг снуют в ночных тенях шпионы,
Он полон планами; он мудрые законы

Диктует царственно, он речи говорит;
Любовь к поверженным, гнев к сильным в нем горит:
Так под шатром небес он, радостный и бравый,
Проходит, упоен своей великой славой.

О вы, уставшие от горя и трудов,
Чьи спины сгорблены под бременем годов
И грудью тряпья, чья грудь в изнеможеньи –
О вы, огромного Парижа изверженья!

Куда лежит ваш путь? Вокруг – пары вина;
Их побелевшая в сраженьях седина,
Их пышные усы повисли, как знамены;
Им чудятся цветы, и арки, и колонны,

И крики радости, покрытые трубой,
И трепет солнечный, и барабанный бой,
Рев оглушительный и блеск слепящий оргий, –
В честь победителей народные восторги.

Так катит золото среди толпы людей
Вино, как сладостный Пактол¹⁰³, волной своей;
Вино, уста людей тебе возносят клики,
И ими правишь ты, как щедрые владыки.

Чтоб усыпить тоску, чтоб скуку утолить,
Чтоб в грудь отверженца луч радости пролить,
Бог создал сон; Вино ты, человек, прибавил
И сына Солнца в нем священного прославил!

CVI ВИНО УБИЙЦЫ

Чтоб пить свободно, я убил
Свою жену: она, бывало,
Всю душу криком надрывала,
Коль без гроша я приходил.

Как воздух чист, как много света!
Я счастлив счастьем короля...
Когда с тобой сошелся я,
Такое же стояло лето!

Мне жажда грудь на части рвет;
Чтоб жажды той уменьшить силу,
Пускай вино ее могилу
До края самого зальет!

Я бросил труп на дно колодца
И груди целую камней,
Сломав забор, воздвиг над ней.
О, где же столько сил найдется!

Словами ласки и любви,
Во имя клятв неразрешимых
И счастья дней неизгладимых,
Мелькнувших в сладком забытьи,

Я сам назначил ей свиданье!
Она же в час вечерней тьмы
Пришла! – Безумное созданье!
Быть может, все безумны мы!

Она была еще красива,
Хоть вся давно изнемогла,
И я, любя ее ревниво,

¹⁰³ Пактол — золотоносная (в древние времена) река в Малой Азии.

Сказал: «Уйди из мира зла!»

Тоска мне сердце вечно гложет,
В толпе ж, что каждый миг пьяна,
Ее никто понять не может
И саван сделать из вина.

Она, как мертвые машины,
Без пытки, без огня в крови,
Клянусь – хотя б на миг единый
Не знала истинной любви

С ее очарованьем черным,
С кортежем дьявольским страстей,
С отравой, слез ручьем позорным
И стуком цепи и костей.

Вновь одинокий и свободный,
Я буду вновь мертвецки пьян;
Забуду боль сердечных ран,
Улягусь на земле холодной

И буду спать, как грязный пес.
Быть может, тормозом вагона
Иль острой шиною колес
Мне череп раздробит: без стога

Я встречу смерть; не все ль равно,
Когда над Богом, Сатаною
И Тайной Вечерей Святою
Я богохульствовал давно!

СVII ВИНО ОТШЕЛЬНИКА

Ни взгляд прелестницы, изысканный и нежный,
Скользкий вкрадчиво, как белый луч луны,
На лоне озера родивший рябь волны,
Купающей в себе красу луны небрежной,

Ни тощий кошелек в кармане игрока,
Ни жадный поцелуй иссохшей Аделины,
Ни отзвук музыки, как дальний стон кручины,
Нас опьяняющий и сладкий, как тоска,

Нам не заменят твой пронзающий бальзам,
Бутылка; он, на дне глубоких недр сокрытый,
Льет в душу молодость, и жизнь, и гордость нам,

Спешит восстановить поэта дух разбитый...
Вино, хвала тебе! ты – гордость бедняков,
Ты превращаешь их в ликующих богов!

СVIII ВИНО ЛЮБОВНИКОВ

Как сверкает небесный простор!
Без узды, без кнута и без шпор
Конь-вино мчит нас в царство чудес
В феерическом блеске небес!

Мы в кристальной дали голубой,
Как два Ангела, реем с тобой,
От горячки сгорая, летим,
Уловить дальний призрак хотим.

Чуть колышимы мягким крылом,
Увлекаемы вихрями грез,
Мы мечтаем, мы бредим вдвоем,

Чтобы вихрь нас в безбрежность унес,
Чтоб со мною достигла и ты
Заповедного рая мечты!

ЦВЕТЫ ЗЛА

СIX РАЗРУШЕНЬЕ

Меня преследует Злой Дух со всех сторон;
Неосязаемо вокруг меня витая,
Нечистым пламенем мне грудь сжигает он;
Я им дышу, его вдыхая и глотая.

То, образ женственно-пленительный приняв,
Когда душа полна святого вдохновенья,
Весь – лицемерие средь мерзостных забав,
Мои уста сквернит напитком преступленья;

То истомленного от взоров Бога прочь
В пустыни мертвые, где скука, страх и ночь,
Уводит силою таинственной внушенья,

То вдруг насмешливо являет предо мной
Одежд нечистых кровь и ран разверстых гной,
И час кровавого готовит Разрушенья.

СХ МУЧЕНИЦА

КАРТИНА НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Где над флаконами нависли складки тканей,
Где платья пышные влачатся по земле,
Где кресел чувственных и строгих изваяний
Недвижен смутный строй в полупрозрачной мгле;

Где в душном воздухе искусственной теплицы
Подстерегает Смерть и дышит верный яд,
Где, заключенные в стеклянные гробницы,
Букеты льют, как вздох предсмертный, аромат –

Простерт безглавый труп: кровавою струею
Подушки напитаю, как будто берега,
Он вспрыснул простыни багровою росой,
Как свежей влагою иссохшие луга.

Как сонмы в сумраке кишаших привидений,
Чья бледность странная приковывает взор,
Сверкая множеством роскошных украшений
На груди черных кос, закрученных в узор,

Немая голова, как лютик, возле ложа
Поставлена на стол, бессмысленно-мертва,
И смутно-беглый взгляд, как сумрак, грудь тревожа,
Случайно вырвавшись, горит едва-едва.

На ложе брошен труп, бесстыдно и небрежно
Раскрыв соковища таинственных красот:
Природы пышный дар, чья прелесть неизбежно,
Как роковой закон, к погибели влечет.

Как память прошлого, ей ногу облекает
Расшитый золотом, чуть розовый чулок,
И в сумрак комнаты подвязка устремляет
Алмазный, острый взор, как вспыхнувший зрачок.

Все говорит: и труп, бесстыдно-одиоко
На ложе брошенный, затопленный в крови,
Портрета мрачного предательское око –
О черном призраке чудовищной любви,

О дикой оргии, когда при взрывах смеха
Огонь лобзания воспламеняет ад,
И им в ответ звучит сочувственное эхо
Тех падших ангелов, что в складках штор кружат.

Как тонки линии плеча, где дерзновенно
Отпечатлели след кровавые струи!
Как в чуткой талии красив изгиб мгновенно
Развившихся колец встревоженной змеи!

Как молода она!.. Душой опустошенной
Вся – скуки тягостным объятьям предана,
Порывам похоти и страсти исступленной,
Быть может, отдалась, безумствуя, она?

Иль нечестивец тот, в любви всегда упорной
Не истощив до дна ненасытимый пыл,
Ее холодный труп, недвижимый и покорный,
Страстей безмерностью бесстыдно осквернил?

Скажи, нечистый труп, ужель своей рукою
Он эту голову за пряди кос поднял,
Ужель лобзания, не дрогнувши душою,
Губами жаркими с холодных губ собрал!

Вдали от шуток злых толпы и поруганья,
От любопытного и праздного судьи,
Вкушая вечный мир, спи, странное созданье,
В могиле роковой, в холодном забытии!

Он обойдет весь мир, но всюду к изголовью
Приникнет образ твой, тревожа смутный сон,
И не изменит он тебе, такой любовью
С тобою, верная до гроба, обручен!

СХІ ОСУЖДЕННЫЕ

Как тварь дрожащая, прильнувшая к пескам,
Они вперяют взор туда, в просторы моря;
Неверны их шаги, их руки льнут к рукам
С истомой сладостной и робкой дрожью горя.

Одни еще зовут под говор ручейков
Видения, полны признанья слов стыдливых,
Любви ребяческой восторгов боязливых,
И ранят дерево зеленое кустов.

Те, как монахини, походкой величавой

Бредут среди холмов, где призрачной гурьбой
Все искушения плывут багровой лавой,
Как ряд нагих грудей, Антоний¹⁰⁴, пред тобой;

А эти, ладонку прижав у страстной груди,
Прикрыв одеждами бичи, среди дубрав,
Стеня, скитаются во мгле ночных безлюдий,
С слюною похоти потоки слез смешав.

О девы-демоны, страдалицы святые,
Для бесконечного покинувшие мир,
Вы – стоны горькие, вы – слезы пролитые,
Вы чище Ангела, бесстыдней, чем сатир.

О сестры бедные! скорбя в мечтах о каждой,
В ваш ад за каждую я смело снизойду,
Чтоб души, полные неутолимой жаждой,
Как урны, полные любви, любить в аду!

СХII ДВЕ СЕСТРИЦЫ

Разврат и Смерть, – трудясь, вы на лобзанья щедры;
Пусть ваши рубища труд вечный истерзал,
Но ваши пышные и девственные недры
Деторождения позор не разверзал.

Отверженник-поэт, что, обреченный аду,
Давно сменил очаг и ложе на вертеп.
В вас обретет покой и горькую усладу:
От угрызения спасут вертеп и склеп.

Альков и черный гроб, как два родные брата,
В душе, что страшными восторгами богата,
Богохуления несчетные родят;

Когда ж мой склеп Разврат замкнет рукой тлетворной,
Пусть над семьей мирт, собой чаруя взгляд,
Твой кипарис¹⁰⁵, о Смерть, вдруг встанет тенью черной!

СХIII ФОНТАН КРОВИ

¹⁰⁴ *Антоний* — имеется в виду св. Антоний (ок. 250–356).

¹⁰⁵ *Кипарис* — символ скорби; это дерево во Франции традиционно встречается на кладбищах.

Струится кровь моя порою, как в фонтане,
Полна созвучьями ритмических рыданий.
Она медлительно течет, журча, пока
Повсюду ищет ран тревожная рука.

Струясь вдоль города, как в замкнутой поляне,
Средь улиц островов обозначая грани,
Поит всех жаждущих кровавая река
И обагрят мир, безбрежно широка.

Я заклинал вино – своей струей обманной
Душе грозящий страх хоть на день усыпить;
Но слух утончился, взор обострился странно;

Я умолял Любовь забвение пролить;
И вот, как ложем игл, истерзан дух любовью,
Сестер безжалостных поя своею кровью.

СХІV АЛЛЕГОРИЯ

То – образ женщины с осанкой величавой,
Чья прядь в бокал вина бежит волной курчавой,
С чьей плоти каменной бесчувственно скользят
И когти похоти, и всех вертепов яд.
Она стоит, глумясь над Смертью и Развратом.
А им, желанием все сокрушать объятим,
Перед незыблемой, надменной Красотой
Дано смирить порыв неудержимый свой.
Султанша томностью, походкою – богиня;
Лишь Магометов рай – одна ее святыня;
Раскрыв объятья всем, она к себе зовет
Весь человеческий неисчислимый род.
Ты знаешь, мудрая, чудовищная дева,
Что и бесплодное твое желанно чрево,
Что плоть прекрасная есть высочайший дар,
Что всепрощение – награда дивных чар;
Чистилище и Ад ты презрела упорно;
Когда же час пробьет исчезнуть в ночи черной,
Как вновь рожденная, спокойна и горда,
Ты узришь Смерти лик без гнева, без стыда.

СХV

БЕАТРИЧЕ¹⁰⁶

В пустыне выжженной, сухой и раскаленной
Природе жалобы слагал я, исступленный,
Точа в душе своей отравленный кинжал,
Как вдруг при свете дня мне сердце ужас сжал:
Большое облако, предвестье страшной бури,
Спускалось на меня из солнечной лазури,
И стадо демонов оно несло с собой,
Как злобных карликов, толпящихся гурьбой.
Но встречен холодно я был их скопом шумным;
Так встречающая толпа глумится над безумным.
Они, шушукаясь, смеялись надо мной
И шурились, глаза слегка прикрыв рукой:

«Смотрите, как смешна карикатура эта,
Чьи позы – жалкая пародия Гамлета,
Чей взор – смущение, чьи пряди ветер рвет;
Одно презрение у нас в груди найдет
Потешный арлекин, бездельник, шут убогий,
Сумевший мастерски воспеть свои тревоги
И так пленить игрой искусных поз и слов
Цветы, источники, кузнечиков, орлов,
Что даже мы, творцы всех старых рубрик, рады
Выслушивать его публичные тирады!»

Гордец, вознесшийся высокою душой
Над грозной тучею, над шумною толпой,
Я отвести хотел главу от жалкой своры;
Но срам чудовищный мои узрели взоры..
(И солнца светлая не дрогнула стезя!)
Мою владычицу меж них увидел я:
Она насмешливо моим слезам внимала
И каждого из них развратно обнимала.

СХVI
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ¹⁰⁷

Как птица, радостно порхая вкруг снастей,
Мой дух стремился вдаль, надеждой окрыленный,
И улетал корабль, как ангел, опьяненный
Лазурью ясною и золотом лучей.

¹⁰⁶ *Беатриче* — имя, вдохновлявшее Данте. К этому имени нередко обращались поэты-романтики.

¹⁰⁷ *Цитера* (Кифера) — остров в Эгейском море у южной оконечности Пелопоннеса, в античной Греции он являлся центром культа Афродиты (Венеры). Само описание острова навеяно очерком (1844) Ж. де Нерваля.

Вот остров сумрачный и черный... То – Цитера,
Превознесенная напевами страна;
О, как безрадостна, безжизненна она!
В ней – рай холостяков, в ней скучно все и серо.

Цитера, остров тайн и праздников любви,
Где всюду реет тень классической Венеры,
Будя в сердцах людей любовь и грусть без меры,
Как благовония тяжелые струи;

Где лес зеленых мирт свои благоуханья
Сливает с запахом священных белых роз,
Где дымкой ладана восходят волны грез,
Признания любви и вздохи обожанья;

Где несмолкаемо воркуют голубки!
– Цитера – груда скал, утес бесплодный, мгlistый,
Где только слышатся пронзительные свисты,
Где ужас узрел я, исполненный тоски!

О нет! То не был храм, окутанный тенями,
Где жрица юная, прекрасна и легка,
Приоткрывая грудь дыханью ветерка,
В цветы влюбленная, сжигала плоть огнями;

Лишь только белые спугнули паруса
Птиц возле берега и мы к нему пристали,
Три черные столба нежданно нам предстали,
Как кипарисов ряд, взбегая в небеса.

На труп повешенный насев со всех сторон,
Добычу вороны безжалостно терзали
И клювы грязные, как долота, вонзали
Во все места, и был он кровью обгажен.

Зияли дырами два глаза, а кишки
Из чрева полого текли волной тлетворной,
И палачи, едой пресытившись позорной,
Срывали с остова истлевшие куски.

И морды вверх подняв, под этим трупом вкруг
Кишели жадные стада четвероногих,
Где самый крупный зверь среди стаи мелких многих
Был главным палачом с толпою верных слуг.

А ты, Цитеры сын, дитя небес прекрасных!
Все издевательства безмолвно ты сносил,
Как искупление по воле высших сил
Всех культов мерзостных и всех грехов ужасных.

Твои страдания, потешный труп, – мои!

Пока я созерцал разодранные члены,
Вдруг поднялись во мне потоки желчной пены,
Как рвота горькая, как давних слез ручьи.

Перед тобой, бедняк, не в силах побороть
Я был забытый бред среди камней Цитеры;
Клюв острый ворона и челюсти пантеры
Опять, как некогда, в мою вонзились плоть!

Лазурь была чиста, и было гладко море;
А мозг окутал мрак, и, гибелью дыша,
Себя окутала навек моя душа
Тяжелым саваном зловещих аллегорий.

На острове Любви я мог ли не узнать
Под перекладиной свое изображение?..
О, дай мне власть, Господь, без дрожи отвращенья
И душу бедную и тело созерцать!

СХVII АМУР И ЧЕРЕП¹⁰⁸

СТАРИННАЯ ВИНЬЕТКА

Амур бесстыдно и проворно
На череп мира сел,
Как царь на троне, и задорно
И беззаботно смел;

Хохочет он – и выдувает
Рой круглых пузырей,
И каждый в небо уплывает,
К другим мирам, скорей.

Но каждый хрупкий шар, сверкая,
Высоко вознесен,
Вдруг лопнет, душу испуская,
Как золотистый сон.

И каждый раз, вздохнув глубоко,
Печалится мертвец:
– Игре веселой и жестокой
Настанет ли конец?

Иль ты, палач, не замечаешь,

¹⁰⁸ Стихотворение навеяно гравюрой Г. Гольциуса (1558–1617), на которой Амур, восседающий на черепе, пускает мыльные пузыри (аллегория быстротечности жизни).

Что в воздух вновь и вновь
Мой мозг безумно расточаешь
И плоть мою и кровь!

МЯТЕЖ

СХVIII ОТРЕЧЕНИЕ СВ. ПЕТРА¹⁰⁹

Творец! анафемы, как грозная волна,
Несутся в высь, к твоим блаженным серафимам.
Под ропот их ты спишь в покое нерушимом,
Как яростный тиран, упившийся вина!

Творец! затерзанных и мучеников крики
Тебе пьянящею симфонией звучат;
Ужель все пытки их, родя кровавый чад,
Не переполнили еще твой свод великий?

Исус! Ты помнишь ли свой Гефсиманский сад?¹¹⁰
Кому молился ты, коленопреклоненный?
Тому ль, кто хохотал, заслышав отдаленный
Позорный стук гвоздей, твоим мученьям рад?

Когда божественность безумно осквернялась
Развратом стражников и гнусной сворой слуг,
Когда шипы венца вонзились в череп вдруг,
Где человечество несметное вмещалось,

Когда повиснул ты, и тела тягота
Двух рук раскинутых вытягивала жилы,
Когда кровавый пот струил твой лоб унылый,
И стал посмешищем вид твоего креста:

Тогда мечтал ли ты о той поре счастливой,
Когда, свершая свой божественный обет,
Ослицей нежною ты был влеком, твой след
Цветами убран был и ветками оливы;

Когда ты весь был гнев, когда рука твоя
Всех этих торгашей безжалостно разила?
Боль угрызения не раньше ли пронзила

¹⁰⁹ Известный евангельский сюжет трактован здесь Бодлером весьма свободно: так, Исус предстает здесь как «яростный тиран», а троекратное отречение св. Петра связывается как с человеческой слабостью, так и с гордыней.

¹¹⁰ *Гефсиманский сад* — масличный сад, где накануне ареста и суда молился Исус Христос.

Твое ребро, Иисус, чем острее копья¹¹¹?

– Я брошу этот мир без слез, без огорчений:
Здесь бьется жизнь, с мечтой деянье разлуча;
Пусть, обнажив свой меч, я сгибну от меча, –
О Петр, клянусь, ты прав в безумьи отречений!

СХІХ АВЕЛЬ И КАИН¹¹²

I

Род Авеля! ты ешь и пьешь,
Твой взор согрет улыбкой Бога;

А ты, род Каинов, ползешь,
И смерть в грязи – твоя дорога!

Род Авеля! твой щедрый дар
У Серафима нос щекочет;

Род Каина! проклятых кар
Твоих убавить Бог не хочет!

Род Авеля! твой сев возрос,
Твой тучен скот – и пышны оба;

Род Каина! как старый пес,
В тебе рычит твоя утроба!

Род Авеля! зимой очаг
Тебя согреет в должной мере;

Род Каина! ты вечно наг,
Ты, как шакал, дрожишь в пещере.

Род Авеля! и плоть и кость
Твои, любя, потомство множит;

Род Каина, весь – страсть и злость,
Чужой восторг лишь видеть может!

Род Авеля! в лесах клопы

¹¹¹ *Острие копья* — имеется в виду копье легионера Лонгина.

¹¹² *Каин и Авель* — сыновья Адама и Евы (Быт, 4, 2). Каин, убив своего брата Авеля, сделался первым убийцей на земле.

С тобой поспорят в размноженьи;

Род Каина! не все ль тропы
Тебе сулят изнеможенье?

II

Род Авеля! Твой труп пожрут
Земли дымящиеся недра;

Род Каина! за гнет и труд
Твой враг тебе заплатит щедро!

Род Авеля! в последний миг

Что меч, коль вокруг рогатин много?

Род Каина небес достиг
И наземь низвергает Бога!

СХХ
ЛИТАНИЯ¹¹³ САТАНЕ

О ты, всех Ангелов мудрейший, славный гений,
О Бог развенчанный, лишенный песнопений!

Мои томления помилуй, Сатана!

Владыка изгнанный, безвинно осужденный,
Чтоб с силой новою воспрянуть, побежденный!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, царь всеведущий, подземных стран владыко,
Целитель душ больных от горести великой!

Мои томления помилуй, Сатана!

Для всех отверженцев, всех парий, прокаженных
Путь указующий к обителям блаженных!

Мои томления помилуй, Сатана!

Любовник Смерти, Ты, для нас родивший с нею
Надежду, – милую, но призрачную фею!..

¹¹³ *Литания* — в католическом богослужении молитва или песнопение, обращенное к Богу, Богородице или святым, суть его — мольба о заступничестве, помиловании.

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, осужденному дающий взор холодный,
Чтоб с эшафота суд изречь толпе народной!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, знающий один, куда в земной утробе
Творцом сокровища укрыты в алчной злобе!

Мои томления помилуй, Сатана!

О ты, чей светлый взор проникнул в арсеналы,
Где, скрыты в безднах, спят безгласные металлы!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, охраняющий сомнамбул от падений
На роковой черте под властью сновидений!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, кости пьяницы, не взятые могилой,
Восстанавливающий магической силой!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, дух измученный утешив новой верой,
Нас научающий мешать селитру с серой!¹¹⁴

Мои томления помилуй, Сатана!

О ты, на Креза¹¹⁵ лоб рукою всемогущей
Клеймо незримое предательски кладущий!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, развращающий у дев сердца и взгляды
И их толкающий на гибель за наряды!

Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, посох изгнанных, ночных трудов лампада,
Ты, заговорщиков советчик и ограда!

Мои томления помилуй, Сатана!

¹¹⁴ ...мешать селитру с серой... — делать порох.

¹¹⁵ Крез — последний царь Лидии, известный своим богатством.

Усыновитель всех, кто, злобою сгорая,
Изгнали прочь отца из их земного рая!

Мои томления помилуй, Сатана!

МОЛИТВА

Тебе, о Сатана, мольбы и песнопенья!
О, где бы ни был ты: в лазурных небесах,
Где некогда царил, иль в адских пропастях,
Где молча опочил в час страшного паденья, –
Пошли душе моей твой непробудный сон
Под древом роковым добра и зла познанья,
Когда твое чело, как храма очертанья,
Ветвями осенит оно со всех сторон!

СМЕРТЬ

СХХІ **СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ**

Мы ляжем, как в гроба, в глубокие диваны,
Цветов тропических расставим вокруг леса –
Для нас соткали их иные небеса –
И ложе смертное обвеет запах пряный!

Два сердца верные, последний жар храня,
Зажгутся пламенем двух факелов широких,
И в глубине двух душ, как двух зеркал глубоких,
Скользнут два отблеска ответного огня!

В тот вечер розовый, таинственно-лазурный
Мы все мерцания в единый луч сольем,
Как в долгий, тяжкий стон – слова разлуки бурной!

О верный Ангел наш, ты к нам приди потом,
Открой с улыбкой дверь в покой любви печальный,
Зажги померкший свет и тусклый лик зеркальный!

СХХІІ **СМЕРТЬ БЕДНЯКОВ**

Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит,

Лишь Смерть – надежда тем, кто наг, и нищ, и сир,
Лишь Смерть до вечера руководить нас будет
И в нашу грудь воьет свой сладкий эликсир!

В холодном инее и в снежном урагане
На горизонте мрак лишь твой прорежет свет,
Смерть – ты гостиница, что нам сдана заранее,
Где всех усталых ждет и ложе и обед!

Ты – Ангел: чудный дар экстазов, сновидений
Ты в магнетических перстах ко всем несешь,
Ты оправаешь одр нагим, как добрый гений;

Святая житница, ты всех равно сберешь;
Отчизна древняя и портик ты чудесный,
Ведущий бедняка туда, в простор небесный!

СХХІІІ СМЕРТЬ ХУДОЖНИКОВ

Не раз раздастся звон потешных бубенцов;
Не раз, целуя лоб Карикатуры мрачной,
Мы много дротиков растратим неудачно,
Чтоб цель достигнута была в конце концов!

Мы много панцирей пробьем без состраданья,
Как заговорщики коварные хитря,
И адским пламенем желания горя –
Пока предстанешь ты, великое созданье!

А вы, что Идола не зрели никогда!
А вы, ваятели, что, плача, шли дотолу
Дорогой горькою презренья и стыда!

Вас жжет одна мечта, суровый Капитолий¹¹⁶!
Пусть Смерть из мозга их взрастит свои цветы,
Как солнце новое, сверкая с высоты!

СХХІV КОНЕЦ ДНЯ

В неверных отблесках денницы
Жизнь кружит, пляшет без стыда;

¹¹⁶ *Капитолий* — храм Юпитера, расположенный в Риме на Капитолийском холме.

Теней проводит вереницы
И исчезает навсегда.

Тогда на горизонте черном
Восходит траурная Ночь,
Смеясь над голодом упорным
И совесть прогоняя прочь;

Тогда поэта дух печальный
В раздумьи молвит: «Я готов!
Пусть мрак и холод погребальный

Совьют мне траурный покров,
И сердце, полное тоскою,
Приблизят к вечному покою!»

СХХV МЕЧТА ЛЮБОПЫТНОГО

К Ф.Н.¹¹⁷

Тоску блаженную ты знаешь ли, как я?
Как я, ты слышал ли всегда название: «Странный»?
Я умирал, в душе влюбленной затая
Огонь желания и ужас несказанный.

Чем меньше сыпалось в пустых часах песка,
Чем уступала грусть послушнее надежде,
Тем тоньше, сладостней была моя тоска;
Я жаждал кинуть мир, родной и близкий прежде.

Тянулся к зрелищу я жадно, как дитя,
Сердясь на занавес, волнуясь и грустя...
Но Правда строгая внезапно обнажилась:

Зарю ужасную я с дрожью увидал,
И понял я, что мертв, но сердце не дивилось.
Был поднят занавес, а я чего-то ждал.

СХХVI ПУТЕШЕСТВИЕ

Максиму Дюкану¹¹⁸

¹¹⁷ Посвящение Ф. Н. означает Феликс Надар. Это фотограф-художник, давний друг Бодлера.

¹¹⁸ Максим дю Кан (1822–1894) — литератор, путешественник. Бодлер полемизировал с дю Каном, в отличие от

I

Дитя, влюбленное и в карты и в эстампы,
Чей взор вселенную так жадно обнимал, —
О, как наш мир велик при скудном свете лампы,
Как взорам прошлого он бесконечно мал!

Чуть утро — мы в пути; наш мозг сжигает пламя;
В душе злопамятной желаний яд острей,
Мы сочетаем ритм с широкими валами,
Предав безбрежность душ предельности морей.

Те с родиной своей, играя, сводят счета,
Те в колыбель зыбей, дрожа, вперяют взгляд,
Те тонут взорами, как в небе звездочеты,
В глазах Цирцеи — пьют смертельный аромат.¹¹⁹

Чтоб сохранить свой лик, они в экстазе славят
Пространства без конца и пьют лучи небес;
Их тело лед грызет, огни их тело плавят,
Чтоб поцелуев след с их бледных губ исчез.

Но странник истинный без цели и без срока
Идет, чтобы идти, — и легок, будто мяч;
Он не противится всесильной воле Рока
И, говоря «Вперед!», не задает задач.

II

Увы! Мы носимся, вертясь как шар, и каждый
Танцует, как кубарь, но даже в наших снах
Мы полны нового неутолимой жаждой:
Так Демон бьет бичом созвездья в небесах.

Пусть цели нет ни в чем, но мы — всегда у цели;
Проклятый жребий наш — твой жребий, человек, —
Пока еще не все надежды отлетели,
В исканье отдыха лишь ускорять свой бег!

Мы — трехмачтовый бриг, в Икарию¹²⁰ плывущий,
Где «Берегись!» звучит на мачте, как призыв,
Где голос слышится, к безумию зовущий:

поэта веровавшим в общественный прогресс.

¹¹⁹ *В глазах Цирцеи — пьют смертельный аромат...* — Волшебница Цирцея, дочь Гелиоса, превратила спутников Одиссея в свиней, а его самого с помощью чар удерживала на острове в течение года.

¹²⁰ *Икария* — мифическая страна, утопия. Это название заимствовано Бодлером из сочинения Э. Кабэ «Путешествие в Икарию (1842), навеянного утопией Т. Мора.

«О слава, о любовь!», и вдруг – навстречу риф!..

Невольно вскрикнем мы тогда: о, ковы Ада!
Здесь каждый островок, где бродит часовой,
Судьбой обещанный, блаженный Эльдорадо¹²¹,
В риф превращается, чуть свет блеснет дневной.

В железо заковать и высадить на берег
Иль бросить в океан тебя, гуляка наш,
Любителя химер, искателя Америк,
Что горечь пропасти усилил сквозь мираж!

Здрав задорный нос, мечтающий бродяга
Вкруг видит райские, блестящие лучи,
И часто Капуей¹²² зовет его отвага
Шалаш, что озарен мерцанием свечи.

III

В глазах у странников, глубоких словно море,
Где и эфир небес, и чистых звезд венцы,
Прочтем мы длинный ряд возвышенных историй;
Раскройте ж памяти алмазные ларцы!

Лишь путешествуя без паруса и пара,
Тюрьмы уныние нам разогнать дано;
Пусть, горизонт обняв, видений ваших чара
Распишет наших душ живое полотно.

Так что ж вы видели?

IV

«Мы видели светила,
Мы волны видели, мы видели пески;
Но вереница бурь в нас сердца не смутила –
Мы изнывали все от скуки и тоски.

Лик солнца славного, цвет волн нежней фиалки
И озлащенные закатом города
Безумной грезой зажгли наш разум жалкий:
В небесных отблесках исчезнуть без следа.

Но чар таинственных в себе не заключали
Ни роскошь городов, ни ширина лугов:
В них тщетно жаждал взор, исполненный печали,

¹²¹ *Эльдорадо* — воображаемый край, изобилующий золотыми россыпями, который конкистадоры жаждали обрести в Южной Америке.

¹²² *Капуя* — город в Италии, где расположилась на зиму армия Карфагена (215 г. до н. а.), утратившая наступательный пыл.

Схватить случайные узоры облаков.

От наслаждения желанье лишь крепчает,
Как полусгнивший ствол, обернутый корой,
Что солнца светлый лик вершиною встречает,
Стремя к его лучам ветвей широких строй.

Ужель ты будешь ввысь расти всегда, ужели
Ты можешь пережить высокий кипарис?..
Тогда в альбом друзей мы набросать успели
Эскизов ряд – они по вкусу всем пришлись!..

Мы зрели идолов, их хоботы кривые,
Их троны пышные, чей блеск – лучи планет,
Дворцы, горящие огнями феерии;
(Банкирам наших стран страшней химеры нет!)

И красочность одежд, пьянящих ясность взоров,
И блеск искусственный покрашенных ногтей,
И змей, ласкающих волшебников-жонглеров».

V

А дальше что?

VI

«Дитя! среди пустых затей

Нам в душу врезалось одно неизгладимо:
То – образ лестницы, где на ступенях всех
Лишь скуки зрелище вовек неустранимо,
Где бесконечна ложь и где бессмертен грех;

Там всюду женщина без отвращения дрожи,
Рабыня гнусная, любит себя собой;
Мужчина осквернил везде развратом ложе,
Как раб рабыни – сток с нечистой водой;

Там те же крики жертв и палачей забавы,
Дым пиршества и кровь все так же слиты там;
Все так же деспоты исполнены отравы,
Все так же чернь полна любви к своим хлыстам;

И там религии, похожие на нашу,
Хотят ворваться в Рай, и их святой восторг
Пьет в истязаниях лишь наслажденья чашу
И сладострастие из всех гвоздей исторг;

Болтлив не меньше мир, и, в гений свой влюбленный,
Он богохульствует безумно каждый миг,
И каждый миг кричит к лазури, исступленный:

„Проклятие тебе, мой Бог и мой Двойник!“

И лишь немногие, любовники Безумья,
Презрев стада людей, пасомые Судьбой,
В бездонный опиум ныряют без раздумья!
– Вот, мир, на каждый день позорный список твой!»

VII

Вот горькие плоды бессмысленных блужданий!
Наш монотонный мир одно лишь может дать
Сегодня, как вчера; в пустыне злых страданий
Оазис ужаса нам дан как благодать!

Остаться или уйти? Будь здесь, кто сносит бремя,
Кто должен, пусть уйдет! Смотри: того уж нет,
Тот медлит, всячески обманывая Время –
Врага смертельного, что мучит целый свет.

Не зная отдыха в мучительном угаре,
Бродя, как Вечный Жид¹²³, презрев вагон, фрегат,
Он не уйдет тебя, проклятый ретиарий;
А тот малюткою с тобой покончить рад.

Когда ж твоя нога придавит наши спины,
Мы вскрикнем с тайною надеждою: «Вперед!»
Как в час, когда в Китай нас гнало жало сплина,
Рвал кудри ветер, а взор вонзался в небосвод;

Наш путь лежит в моря, где вечен мрак печальный,
Где будет весел наш неискушенный дух...
Чу! Нежащий призыв и голос погребальный
До слуха нашего слегка коснулись вдруг:

«Сюда, здесь Лотоса цветок благоуханный,
Здесь вкусят все сердца волшебного плода,
Здесь опьянит ваш дух своей отрадой странной
Наш день, не знающий заката никогда!»

Я тень по голосу узнал; со дна Пилады¹²⁴
К нам руки нежные стремятся протянуть,
И та, чьи ноги я лобзал в часы услады,
Меня зовет: «Направь к своей Электре¹²⁵ путь!»

¹²³ *Вечный Жид* — обреченный на скитания Агасфер, который нанес оскорбление Христу, шедшему на Голгофу.

¹²⁴ *Пилад* — верный друг Ореста, сына Клитемнестры и Агамемнона.

¹²⁵ *Электра* — верная, самоотверженная сестра Ореста.
П. Росси

VIII

Смерть, капитан седой! страдать нет больше силы!
Поднимем якорь наш! О Смерть! нам в путь пора!
Пусть черен свод небес, пусть море – как чернилы,
В душе испытанной горит лучей игра!

Пролей же в сердце яд, он нас спасет от боли;
Наш мозг больной, о Смерть, горит в твоём огне,
И бездна нас влечет. Ад, Рай – не все равно ли?
Мы новый мир найдем в безвестной глубине!

LES FLEURS DU MAL

*Au poète impeccable
Au parfait magicien ès lettres françaises
À mon très-cher et très-vénéré
Maître et ami
THÉOPHILE GAUTIER
Avec les sentiments
De la plus profonde humilité
Je dédie
CES FLEURS MALADIVES
C. B.*

AU LECTEUR

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets répugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange

Le sein martyrisé d'une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons,
Et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,
N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins,
C'est que notre âme, hélas! N'est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde;

C'est l'ennui! – l'œil chargé d'un pleur involontaire,
Il rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!

русский

SPLEEN ET IDÉAL

I BÉNÉDICTION

Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,
Le poète apparaît dans ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié:

– "Ah! Que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipères,
Plutôt que de nourrir cette dérision!
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon expiation!

Puisque tu m'as choisie entre toutes les femmes
Pour être le dégoût de mon triste mari,
Et que je ne puis pas rejeter dans les flammes,
Comme un billet d'amour, ce monstre rabougri,

Je ferai rejaillir la haine qui m'accable
Sur l'instrument maudit de tes méchancetés,
Et je tordrai si bien cet arbre misérable,
Qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés!"

Elle ravale ainsi l'écume de sa haine,
Et, ne comprenant pas les desseins éternels,
Elle-même prépare au fond de la Géhenne
Les bûchers consacrés aux crimes maternels.

Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange,
L'enfant déshérité s'enivre de soleil,
Et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange
Retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil.

Il joue avec le vent, cause avec le nuage,
Et s'enivre en chantant du chemin de la croix;
Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage
Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.

Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte,
Ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité,
Cherchent à qui saura lui tirer une plainte,
Et font sur lui l'essai de leur férocité.

Dans le pain et le vin destinés à sa bouche
Ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats;
Avec hypocrisie ils jettent ce qu'il touche,
Et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas.

Sa femme va criant sur les places publiques:
Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer,
Je ferai le métier des idoles antiques,
Et comme elles je veux me faire redorer;

Et je me soulerai de nard, d'encens, de myrrhe,
De genuflexions, de viandes et de vins,
Pour savoir si je puis dans un cœur qui m'admire
Usurper en riant les hommages divins!

Et, quand je m'ennuierai de ces farces impies,
Je poserai sur lui ma frêle et forte main;
Et mes ongles, pareils aux ongles des harpies,
Sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin.

Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite,
J'arracherai ce cœur tout rouge de son sein,
Et, pour rassasier ma bête favorite,
Je le lui jetterai par terre avec dédain!"

Vers le ciel, où son œil voit un trône splendide,
Le poète serein lève ses bras pieux,

Et les vastes éclairs de son esprit lucide
Lui dérobent l'aspect des peuples furieux:

– "Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés!

Je sais que vous gardez une place au poète
Dans les rangs bienheureux des saintes légions,
Et que vous l'invitez à l'éternelle fête
Des trônes, des vertus, des dominations.

Je sais que la douleur est la noblesse unique
Où ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique
Imposer tous les temps et tous les univers.

Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre,
Les métaux inconnus, les perles de la mer,
Par votre main montés, ne pourraient pas suffire
À ce beau diadème éblouissant et clair;

Car il ne sera fait que de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs,
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs!"

русский

II L'ALBATROS

Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

русский

III ÉLÉVATION

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,

Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élançer vers les champs lumineux et sereins;

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
– Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes!

русский

IV CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

– Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

русский

V

J'aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues.
Alors l'homme et la femme en leur agilité
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété,
Et, le ciel amoureux leur caressant l'échine,
Exerçaient la santé de leur noble machine.
Cybèle alors, fertile en produits généreux,
Ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux,
Mais, louve au cœur gonflé de tendresses communes,
Abreuvait l'univers à ses tétines brunes.
L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit
D'être fier des beautés qui le nommaient leur roi;
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures,
Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures!

Le poète aujourd'hui, quand il veut concevoir
Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir
La nudité de l'homme et celle de la femme,
Sent un froid ténébreux envelopper son âme
Devant ce noir tableau plein d'épouvantement.
Ô monstruosité pleurant leur vêtement!
Ô ridicules troncs! Torses dignes des masques!
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,
Que le dieu de l'utile, implacable et serein,
Enfants, emmaillota dans ses langes d'airain!
Et vous, femmes, hélas! Pâles comme des cierges,
Que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierges,
Du vice maternel traînant l'hérédité
Et toutes les hideurs de la fécondité!

Nous avons, il est vrai, nations corrompues,
Aux peuples anciens des beautés inconnues:
Des visages rongés par les chancres du cœur,
Et comme qui dirait des beautés de langueur;
Mais ces inventions de nos muses tardives
N'empêcheront jamais les races malades
De rendre à la jeunesse un hommage profond,
- À la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front,
À œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante,
Et qui va répandant sur tout, insouciant
Comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs,

Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs!

русский

VI LES PHARES

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse,
Oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer,
Mais où la vie afflue et s'agite sans cesse,
Comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer;

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,
Où des anges charmants, avec un doux souris
Tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays;

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures,
Et d'un grand crucifix décoré seulement,
Où la prière en pleurs s'exhale des ordures,
Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement;

Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des hercules
Se mêler à des Christs, et se lever tout droits
Des fantômes puissants qui dans les crépuscules
Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts;

Colères de boxeur, impudences de faune,
Toi qui sus ramasser la beauté des goujats,
Grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune,
Puget, mélancolique empereur des forçats;

Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres,
Comme des papillons, errent en flamboyant,
Décors frais et légers éclairés par des lustres
Qui versent la folie à ce bal tournoyant;

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,
De fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d'enfants toutes nues,
Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas;

Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges,
Ombragé par un bois de sapins toujours vert,
Où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges
Passent, comme un soupir étouffé de Weber;

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes;
C'est pour les cœurs mortels un divin opium!

C'est un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix;
C'est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité!

русский

VII LA MUSE MALADE

Ma pauvre muse, hélas! Qu'as-tu donc ce matin?
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.

Le succube verdâtre et le rose lutin
T'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes?
Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin,
T'a-t-il noyée au fond d'un fabuleux Minturnes?

Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé
Ton sein de pensers forts fût toujours fréquenté,
Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques

Comme les sons nombreux des syllabes antiques,
Où règnent tour à tour le père des chansons,
Phoebus, et le grand Pan, le seigneur des moissons.

русский

VIII LA MUSE VÉNALE

Ô muse de mon cœur, amante des palais,
Auras-tu quand janvier lâchera ses Borées,
Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées,
Un tison pour chauffer tes deux pieds violets?

Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées
Aux nocturnes rayons qui percent les volets?
Sentant ta bourse à sec autant que ton palais,
Récouteras-tu l'or des voûtes azurées?

Il te faut, pour gagner ton pain de chaque soir,
Comme un enfant de choeur, jouer de l'encensoir,
Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois guère,

Ou, saltimbanque à jeun, étaler tes appas
Et ton rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas,
Pour faire épanouir la rate du vulgaire.

русский

IX LE MAUVAIS MOINE

Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles
Étalaien en tableaux la sainte vérité,
Dont l'effet, réchauffant les pieuses entrailles,
Tempérait la froideur de leur austérité.

En ces temps où du Christ florissaient les semailles,
Plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité,
Prenant pour atelier le champ des funérailles,
Glorifiait la mort avec simplicité.

– Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite,
Depuis l'éternité je parcours et j'habite;
Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux.

Ô moine fainéant! Quand saurai-je donc faire
Du spectacle vivant de ma triste misère
Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux?

русский

X L'ENNEMI

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.

Voilà que j'ai touché l'automne des idées,
Et qu'il faut employer la pelle et les râtaeux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur?

- Ô douleur! Ô douleur! Le temps mange la vie,
Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie!

русский

XI LE GUIGNON

Pour soulever un poids si lourd,
Sisyphé, il faudrait ton courage!
Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage,
L'art est long et le temps est court.

Loin des sépultures célèbres,
Vers un cimetière isolé,
Mon cœur, comme un tambour voilé,
Va battant des marches funèbres.

– Maint joyau dort enseveli
Dans les ténèbres et l'oubli,
Bien loin des pioches et des sondes;

Mainte fleur épanche à regret
Son parfum doux comme un secret
Dans les solitudes profondes.

русский

XII LA VIE ANTÉRIEURE

J'ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir

Le secret douloureux qui me faisait languir.

русский

XIII BOHÉMIENS EN VOYAGE

La tribu prophétique aux prunelles ardentes
Hier s'est mise en route, emportant ses petits
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.

Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes
Le long des chariots où les leurs sont blottis,
Promenant sur le ciel des yeux appesantis
Par le morne regret des chimères absentes.

Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,
Les regardant passer, redouble sa chanson;
Cybèle, qui les aime, augmente ses verdurees,

Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert
L'empire familial des ténèbres futures.

русский

XIV L'HOMME ET LA MER

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes,
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables!

русский

XV
DON JUAN AUX ENFERS

Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine
Et quand il eut donné son obole à Charon,
Un sombre mendiant, œil fier comme Antisthène,
D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron.

Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes,
Des femmes se tordaient sous le noir firmament,
Et, comme un grand troupeau de victimes offertes,
Derrière lui traînaient un long mugissement.

Sganarelle en riant lui réclamait ses gages,
Tandis que Don Luis avec un doigt tremblant
Montrait à tous les morts errant sur les rivages
Le fils audacieux qui raila son front blanc.

Frisonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,
Près de l'époux perfide et qui fut son amant,
Semblait lui réclamer un suprême sourire
Où brillât la douceur de son premier serment.

Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre
Se tenait à la barre et coupait le flot noir;
Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
Regardait le sillage et ne daignait rien voir.

русский

XVI
CHÂTIMENT DE L'ORGUEIL

En ces temps merveilleux où la théologie
Fleurit avec le plus de sève et d'énergie,
On raconte qu'un jour un docteur des plus grands,
Après avoir forcé les cœurs indifférents;
Les avoir remués dans leurs profondeurs noires;
– Après avoir franchi vers les célestes gloires
Des chemins singuliers à lui-même inconnus,
Où les purs esprits seuls peut-être étaient venus, -
– Comme un homme monté trop haut, pris de panique,
S'écria, transporté d'un orgueil satanique:
"Jésus, petit Jésus! Je t'ai poussé bien haut!
Mais, si j'avais voulu t'attaquer au défaut
De l'armure, ta honte égalerait ta gloire,

Et tu ne serais plus qu'un fœtus dérisoire!"

Immédiatement sa raison s'en alla.
L'éclat de ce soleil d'un crêpe se voila;
Tout le chaos roula dans cette intelligence,
Temple autrefois vivant, plein d'ordre et d'opulence,
Sous les plafonds duquel tant de pompe avait lui.
Le silence et la nuit s'installèrent en lui,
Comme dans un caveau dont la clef est perdue.
Dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue,
Et, quand il s'en allait sans rien voir, à travers
Les champs, sans distinguer les étés des hivers,
Sale inutile et laid comme une chose usée,
Il faisait des enfants la joie et la risée.

русский

XVII LA BEAUTÉ

Je suis belle, ô mortels! Comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;
J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études;

Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!

русский

XVIII L'IDÉAL

Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes,
Produits avariés, nés d'un siècle vaurien,
Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes,
Qui sauront satisfaire un cœur comme le mien.

Je laisse à Gavarni, poète des chloroses,

Son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital,
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.

Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme,
C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,
Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans;

Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Tes appas façonnés aux bouches des Titans!

русский

XIX LA GÉANTE

Du temps que la nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante,
Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux.

J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;

Parcourir à loisir ses magnifiques formes;
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,
Et parfois en été, quand les soleils malsains,

Lasse, la font s'étendre à travers la campagne,
Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins,
Comme un hameau paisible au pied d'une montagne.

русский

XX LE MASQUE

À Ernest Christophe, statuaire.

STATUE ALLÉGORIQUE DANS LE GOÛT DE LA RENAISSANCE

Contempons ce trésor de grâces florentines;
Dans l'ondulation de ce corps musculeux
L'élégance et la force abondent, sœurs divines.
Cette femme, morceau vraiment miraculeux,
Divinement robuste, adorablement mince,
Est faite pour trôner sur des lits somptueux,

Et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince.

– Aussi, vois ce souris fin et voluptueux
Où la fatuité promène son extase;
Ce long regard sournois, langoureux et moqueur;
Ce visage mignard, tout encadré de gaze,
Dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur:
"La volupté m'appelle et l'amour me couronne!"
À cet être doué de tant de majesté
Vois quel charme excitant la gentillesse donne!
Approchons, et tournons autour de sa beauté.

Ô blasphème de l'art! Ô surprise fatale!
La femme au corps divin, promettant le bonheur,
Par le haut se termine en monstre bicéphale!

Mais non! Ce n'est qu'un masque, un décor suborneur,
Ce visage éclairé d'une exquise grimace,
Et, regarde, voici, crispée atrocement,
La véritable tête, et la sincère face
Renversée à l'abri de la face qui ment.
Pauvre grande beauté! Le magnifique fleuve
De tes pleurs aboutit dans mon cœur soucieux;
Ton mensonge m'enivre, et mon âme s'abreuve
Aux flots que la douleur fait jaillir de tes yeux!

– Mais pourquoi pleure-t-elle? Elle, beauté parfaite
Qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu,
Quel mal mystérieux ronge son flanc d'athlète?

– Elle pleure, insensé, parce qu'elle a vécu!
Et parce qu'elle vit! Mais ce qu'elle déplore
Surtout, ce qui la fait frémir jusqu'aux genoux,
C'est que demain, hélas! Il faudra vivre encore!
Demain, après-demain et toujours! – comme nous!

русский

XXI HYMNE À LA BEAUTÉ

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme,
Ô beauté? Ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l'on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore;
Tu répands des parfums comme un soir orageux;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?
Le destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te moques;
De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant,
Et le meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureuxment.

L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépète, flambe et dit: bénissons ce flambeau!
L'amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l'air d'un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,
Ô beauté! Monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton œil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte
D'un infini que j'aime et n'ai jamais connu?

De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou sirène,
Qu'importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! -
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?

русский

XXII PARFUM EXOTIQUE

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne,
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont œil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l'air et m'enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

русский

XXIII

LA CHEVELURE

Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure!
Ô boucles! Ô parfum chargé de nonchaloir!
Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure
Des souvenirs dormants dans cette chevelure,
Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir!

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique!
Comme d'autres esprits voguent sur la musique,
Le mien, ô mon amour! Nage sur ton parfum.

J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, pleins de sève,
Se pâment longuement sous l'ardeur des climats;
Fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève!
Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts:

Un port retentissant où mon âme peut boire
À grands flots le parfum, le son et la couleur;
Où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire,
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire
D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur.

Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse
Dans ce noir océan où l'autre est enfermé;
Et mon esprit subtil que le roulis caresse
Saura vous retrouver, ô féconde paresse!
Infinis bercements du loisir embaumé!

Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues,
Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond;
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues
Je m'enivre ardemment des senteurs confondues
De l'huile de coco, du musc et du goudron.

Longtemps! Toujours! Ma main dans ta crinière lourde
Sèmera le rubis, la perle et le saphir,
Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde!
N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde
Où je hume à longs traits le vin du souvenir?

русский

XXIV

Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne,
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,

Et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis,
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues
Qui séparent mes bras des immensités bleues.

Je m'avance à l'attaque, et je grimpe aux assauts,
Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux,
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle!
Jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle!

русский

XXV

Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle,
Femme impure! L'ennui rend ton âme cruelle.
Pour exercer tes dents à ce jeu singulier,
Il te faut chaque jour un cœur au râtelier.
Tes yeux, illuminés ainsi que des boutiques
Et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques,
Usent insolemment d'un pouvoir emprunté,
Sans connaître jamais la loi de leur beauté.

Machine aveugle et sourde, en cruautés féconde!
Salutaire instrument, buveur du sang du monde,
Comment n'as-tu pas honte et comment n'as-tu pas
Devant tous les miroirs vu pâlir tes appas?
La grandeur de ce mal où tu te crois savante
Ne t'a donc jamais fait reculer d'épouvante,
Quand la nature, grande en ses desseins cachés,
De toi se sert, ô femme, ô reine des péchés,
– De toi, vil animal, – pour pétrir un génie?

Ô fangeuse grandeur! Sublime ignominie!

русский

XXVI SED NON SATIATA

Bizarre déité, brune comme les nuits,
Au parfum mélangé de musc et de havane,
Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane,
Sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuits,

Je préfère au constance, à l'opium, au nuits,
L'élixir de ta bouche où l'amour se pavane;
Quand vers toi mes désirs partent en caravane,
Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis.

Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme,
Ô démon sans pitié! Verse-moi moins de flamme;
Je ne suis pas le Styx pour t'embrasser neuf fois,

Hélas! Et je ne puis, mégère libertine,
Pour briser ton courage et te mettre aux abois,
Dans l'enfer de ton lit devenir Proserpine!

русский

XXVII

Avec ses vêtements ondoiyants et nacrés,
Même quand elle marche on croirait qu'elle danse,
Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés
Au bout de leurs bâtons agitent en cadence.

Comme le sable morne et l'azur des déserts,
Insensibles tous deux à l'humaine souffrance,
Comme les longs réseaux de la houle des mers,
Elle se développe avec indifférence.

Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants,
Et dans cette nature étrange et symbolique
Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique,

Où tout n'est qu'or, acier, lumière et diamants,
Resplendit à jamais, comme un astre inutile,
La froide majesté de la femme stérile.

русский

XXVIII

LE SERPENT QUI DANSE

Que j'aime voir, chère indolente,
De ton corps si beau,
Comme une étoffe vacillante,
Miroiter la peau!

Sur ta chevelure profonde
Aux âcres parfums,
Mer odorante et vagabonde
Aux flots bleus et bruns,

Comme un navire qui s'éveille
Au vent du matin,
Mon âme rêveuse appareille
Pour un ciel lointain.

Tes yeux, où rien ne se révèle
De doux ni d'amer,
Sont deux bijoux froids où se mêle
L'or avec le fer.

À te voir marcher en cadence,
Belle d'abandon,
On dirait un serpent qui danse
Au bout d'un bâton.

Sous le fardeau de ta paresse
Ta tête d'enfant
Se balance avec la mollesse
D'un jeune éléphant,

Et ton corps se penche et s'allonge
Comme un fin vaisseau
Qui roule bord sur bord et plonge
Ses vergues dans l'eau.

Comme un flot grossi par la fonte
Des glaciers grondants,
Quand l'eau de ta bouche remonte
Au bord de tes dents,

Je crois boire un vin de Bohême,
Amer et vainqueur,
Un ciel liquide qui parsème
D'étoiles mon cœur!

русский

XXIX UNE CHAROGNE

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux:
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint;

Et le ciel regardait la carcasse superbe

Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir,
Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un œil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.

– Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!

Oui! Telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés!

русский

XXX
DE PROFUNDIS CLAMAVI

J'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime,
Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé.

C'est un univers morne à l'horizon plombé,
Où nagent dans la nuit l'horreur et le blasphème;

Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois,
Et les six autres mois la nuit couvre la terre;
C'est un pays plus nu que la terre polaire;
– Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois!

Or il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse
La froide cruauté de ce soleil de glace
Et cette immense nuit semblable au vieux chaos;

Je jalouse le sort des plus vils animaux
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide,
Tant l'écheveau du temps lentement se dévide!

русский

XXXI LE VAMPIRE

Toi qui, comme un coup de couteau,
Dans mon cœur plaintif es entrée;
Toi qui, forte comme un troupeau
De démons, vins, folle et parée,

De mon esprit humilié
Faire ton lit et ton domaine;
– Infâme à qui je suis lié
Comme le forçat à la chaîne,

Comme au jeu le joueur têtue,
Comme à la bouteille l'ivrogne,
Comme aux vermines la charogne,
– Maudite, maudite sois-tu!

J'ai prié le glaive rapide
De conquérir ma liberté,
Et j'ai dit au poison perfide
De secourir ma lâcheté.

Hélas! Le poison et le glaive
M'ont pris en dédain et m'ont dit:
"Tu n'es pas digne qu'on t'enlève
À ton esclavage maudit,

Imbécile! – de son empire
Si nos efforts te délivraient,
Tes baisers ressusciteraient
Le cadavre de ton vampire!"

XXXII

Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive,
Comme au long d'un cadavre un cadavre étendu,
Je me pris à songer près de ce corps vendu
À la triste beauté dont mon désir se prive.

Je me représentais sa majesté native,
Son regard de vigueur et de grâces armé,
Ses cheveux qui lui font un casque parfumé,
Et dont le souvenir pour l'amour me ravive.

Car j'eusse avec ferveur baisé ton noble corps,
Et depuis tes pieds frais jusqu'à tes noires tresses,
Déroulé le trésor des profondes caresses,

Si, quelque soir, d'un pleur obtenu sans effort
Tu pouvais seulement, ô reine des cruelles!
Obscurcir la splendeur de tes froides prunelles.

русский

XXXIII REMORDS POSTHUME

Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse,
Au fond d'un monument construit en marbre noir,
Et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse;

Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir,
Empêchera ton cœur de battre et de vouloir,
Et tes pieds de courir leur course aventureuse,

Le tombeau, confident de mon rêve infini
(Car le tombeau toujours comprendra le poète),
Durant ces grandes nuits d'où le somme est banni,

Te dira: "Que vous sert, courtisane imparfaite,
De n'avoir pas connu ce que pleurent les morts?"
– Et le ver rongera ta peau comme un remords.

русский

XXXIV LE CHAT

Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d'agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s'enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,

Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête,
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,

Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum,
Nagent autour de son corps brun.

русский

XXXV DUELLUM

Deux guerriers ont couru l'un sur l'autre; leurs armes
Ont éclaboussé l'air de lueurs et de sang.
Ces jeux, ces cliquetis du fer sont les vacarmes
D'une jeunesse en proie à l'amour vagissant.

Les glaives sont brisés! Comme notre jeunesse,
Ma chère! Mais les dents, les ongles acérés,
Vengent bientôt l'épée et la dague traîtresse.
– Ô fureur des cœurs mûrs par l'amour ulcérés!

Dans le ravin hanté des chats-pards et des onces
Nos héros, s'étreignant méchamment, ont roulé,
Et leur peau fleurira l'aridité des ronces.

– Ce gouffre, c'est l'enfer, de nos amis peuplé!
Roulons-y sans remords, amazone inhumaine,
Afin d'éterniser l'ardeur de notre haine!

русский

XXXVI LE BALCON

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,

Ô toi, tous mes plaisirs! Ô toi, tous mes devoirs!
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses!

Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m'était doux! Que ton cœur m'était bon!
Nous avons dit souvent d'impérissables choses
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Que l'espace est profond! Que le cœur est puissant!
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!

La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur! Ô poison!
Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison.

Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux?
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses!

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes?
– Ô serments! Ô parfums! Ô baisers infinis!

русский

XXXVII LE POSSÉDÉ

Le soleil s'est couvert d'un crêpe.comme lui,
Ô lune de ma vie! Emmitoufle-toi d'ombre;
Dors ou fume à ton gré; sois muette, sois sombre,
Et plonge tout entière au gouffre de l'ennui;

Je t'aime ainsi! Pourtant, si tu veux aujourd'hui,
Comme un astre éclipsé qui sort de la pénombre,
Te pavaner aux lieux que la folie encombre,
C'est bien! Charmant poignard, jaillis de ton étui!

Allume ta prunelle à la flamme des lustres!

Allume le désir dans les regards des rustres!
Tout de toi m'est plaisir, morbide ou pétulant;

Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore;
Il n'est pas une fibre en tout mon corps tremblant
Qui ne crie: Ô mon cher Belzébuth, je t'adore!

русский

XXXVIII UN FANTÔME

I LES TÉNÈBRES

Dans les caveaux d'insondable tristesse
Où le destin m'a déjà relégué;
Où jamais n'entre un rayon rose et gai;
Où seul, avec la nuit, maussade hôtesse,

Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur
Condamne à peindre, hélas! Sur les ténèbres;
Où, cuisinier aux appétits funèbres,
Je fais bouillir et je mange mon cœur,

Par instants brille, et s'allonge, et s'étale
Un spectre fait de grâce et de splendeur.
À sa rêveuse allure orientale,

Quand il atteint sa totale grandeur,
Je reconnais ma belle visiteuse:
C'est elle! Noire et pourtant lumineuse.

II LE PARFUM

Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'encens qui remplit une église,
Ou d'un sachet le musc invétéré?

Charme profond, magique, dont nous grise
Dans le présent le passé restauré!
Ainsi l'amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.

De ses cheveux élastiques et lourds,
Vivant sachet, encensoir de l'alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,

Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure.

III LE CADRE

Comme un beau cadre ajoute à la peinture,
Bien qu'elle soit d'un pinceau très-vanté,
Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté
En l'isolant de l'immense nature,

Ainsi bijoux, meubles, métaux, dorure,
S'adaptaient juste à sa rare beauté;
Rien n'offusquait sa parfaite clarté,
Et tout semblait lui servir de bordure.

Même on eût dit parfois qu'elle croyait
Que tout voulait l'aimer; elle noyait
Sa nudité voluptueusement

Dans les baisers du satin et du linge,
Et, lente ou brusque, à chaque mouvement
Montrait la grâce enfantine du singe.

IV LE PORTRAIT

La maladie et la mort font des cendres
De tout le feu qui pour nous flamboya.
De ces grands yeux si fervents et si tendres,
De cette bouche où mon cœur se noya,

De ces baisers puissants comme un dictame,
De ces transports plus vifs que des rayons,
Que reste-t-il? C'est affreux, ô mon âme!
Rien qu'un dessin fort pâle, aux trois crayons,

Qui, comme moi, meurt dans la solitude,
Et que le temps, injurieux vieillard,
Chaque jour frotte avec son aile rude...

Noir assassin de la vie et de l'art,
Tu ne tueras jamais dans ma mémoire
Celle qui fut mon plaisir et ma gloire!

русский

Je te donne ces vers afin que si mon nom
Aborde heureusement aux époques lointaines,
Et fait rêver un soir les cervelles humaines,
Vaisseau favorisé par un grand aquilon,

Ta mémoire, pareille aux fables incertaines,
Fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon,
Et par un fraternel et mystique chaînon
Reste comme pendue à mes rimes hautaines;

Être maudit à qui, de l'abîme profond
Jusqu'au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond!
– Ô toi qui, comme une ombre à la trace éphémère,

Foules d'un pied léger et d'un regard serein
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère,
Statue aux yeux de jais, grand ange au front d'airain!

русский

XL SEMPER EADEM

"D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange
Montant comme la mer sur le roc noir et nu?"
– Quand notre cœur a fait une fois sa vendange,
Vivre est un mal. C'est un secret de tous connu,

Une douleur très-simple et non mystérieuse,
Et, comme votre joie, éclatante pour tous.
Cessez donc de chercher, ô belle curieuse!
Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous!

Taisez-vous, ignorante! Âme toujours ravie!
Bouche au rire enfantin! Plus encor que la vie,
La mort nous tient souvent par des liens subtils.

Laissez, laissez mon cœur s'enivrer d'un mensonge,
Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe
Et sommeiller longtemps à l'ombre de vos cils!

русский

XLI TOUT ENTIÈRE

Le Démon, dans ma chambre haute,
Ce matin est venu me voir,

Et, tâchant à me prendre en faute,
Me dit: "Je voudrais bien savoir,

Parmi toutes les belles choses
Dont est fait son enchantement,
Parmi les objets noirs ou roses
Qui composent son corps charmant,

Quel est le plus doux." – Ô mon âme!
Tu répondis à l'Abhorré:
"Puisqu'en Elle tout est dictame,
Rien ne peut être préféré.

Lorsque tout me ravit, j'ignore
Si quelque chose me séduit.
Elle éblouit comme l'Aurore
Et console comme la Nuit;

Et l'harmonie est trop exquise,
Qui gouverne tout son beau corps,
Pour que l'impuissante analyse
En note les nombreux accords.

Ô métamorphose mystique
De tous mes sens fondus en un!
Son haleine fait la musique,
Comme sa voix fait le parfum!"

русский

XLII

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,
Que diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri,
À la très-belle, à la très-bonne, à la très-chère,
Dont le regard divin t'a soudain refleurî?

– Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges:
Rien ne vaut la douceur de son autorité;
Sa chair spirituelle a le parfum des anges,
Et son œil nous revêt d'un habit de clarté.

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude,
Que ce soit dans la rue et dans la multitude,
Son fantôme dans l'air danse comme un flambeau.

Parfois il parle et dit: "Je suis belle, et j'ordonne
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau;
Je suis l'Ange gardien, la Muse et la Madone."

русский

XLIII
LE FLAMBEAU VIVANT

Ils marchent devant moi, ces Yeux pleins de lumières,
Qu'un Ange très-savant a sans doute aimantés;
Ils marchent, ces divins frères qui sont mes frères,
Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés.

Me sauvant de tout piège et de tout péché grave,
Ils conduisent mes pas dans la route du Beau;
Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave;
Tout mon être obéit à ce vivant flambeau.

Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique
Qu'ont les cierges brûlant en plein jour; le soleil
Rougit, mais n'éteint pas leur flamme fantastique;

Ils célèbrent la Mort, vous chantez le Réveil;
Vous marchez en chantant le réveil de mon âme,
Astres dont nul soleil ne peut flétrir la flamme!

русский

XLIV
RÉVERSIBILITÉ

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse,
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis,
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits
Qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse?
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse?

Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine,
Les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel,
Quand la Vengeance bat son infernal rappel,
Et de nos facultés se fait le capitaine?
Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine?

Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres,
Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard,
Comme des exilés, s'en vont d'un pied traînard,
Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres?
Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres?

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides,
Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment
De lire la secrète horreur du dévouement
Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avides?

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides?

Ange plein de bonheur, de joie et de lumières,
David mourant aurait demandé la santé
Aux émanations de ton corps enchanté;
Mais de toi je n'implore, ange, que tes prières,
Ange plein de bonheur, de joie et de lumières!

русский

XLV CONFESSION

Une fois, une seule, aimable et douce femme,
À mon bras votre bras poli
S'appuya (sur le fond ténébreux de mon âme
Ce souvenir n'est point pâli);

Il était tard; ainsi qu'une médaille neuve
La pleine lune s'étalait,
Et la solennité de la nuit, comme un fleuve,
Sur Paris dormant ruisselait.

Et le long des maisons, sous les portes cochères,
Des chats passaient furtivement,
L'oreille au guet, ou bien, comme des ombres chères,
Nous accompagnaient lentement.

Tout à coup, au milieu de l'intimité libre
Écluse à la pâle clarté,
De vous, riche et sonore instrument où ne vibre
Que la radieuse gaieté,

De vous, claire et joyeuse ainsi qu'une fanfare
Dans le matin étincelant,
Une note plaintive, une note bizarre
S'échappa, tout en chancelant,

Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde,
Dont sa famille rougirait,
Et qu'elle aurait longtemps, pour la cacher au monde,
Dans un caveau mise au secret.

Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde:
"Que rien ici-bas n'est certain,
Et que toujours, avec quelque soin qu'il se farde,
Se trahit l'égoïsme humain;

Que c'est un dur métier que d'être belle femme,
Et que c'est le travail banal
De la danseuse folle et froide qui se pâme

Dans un sourire machinal;

Que bâtir sur les cœurs est une chose sotte;
Que tout craque, amour et beauté,
Jusqu'à ce que l'Oubli les jette dans sa hotte
Pour les rendre à l'Éternité!"

J'ai souvent évoqué cette lune enchantée,
Ce silence et cette langueur,
Et cette confiance horrible chuchotée
Au confessionnal du cœur.

русский

XLVI L'AUBE SPIRITUELLE

Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille
Entre en société de l'Idéal rongeur,
Par l'opération d'un mystère vengeur
Dans la brute assoupie un ange se réveille.

Des Cieux Spirituels l'inaccessible azur,
Pour l'homme terrassé qui rêve encore et souffre,
S'ouvre et s'enfonce avec l'attrance du gouffre.
Ainsi, chère Déesse, Être Lucide et pur,

Sur les débris fumeux des stupides orgies
Ton souvenir plus clair, plus rose, plus charmant,
À mes yeux agrandis voltige incessamment.

Le soleil a noirci la flamme des bougies;
Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil,
Âme resplendissante, à l'immortel soleil!

русский

XLVII HARMONIE DU SOIR

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensor!

русский

XLVIII LE FLACON

Il est de forts parfums pour qui toute matière
Est poreuse. On dirait qu'ils pénètrent le verre.
En ouvrant un coffret venu de l'Orient
Dont la serrure grince et rechigne en criant,

Ou dans une maison déserte quelque armoire
Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire,
Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient,
D'où jaillit toute vive une âme qui revient.

Mille pensers dormaient, chrysalides funèbres,
Frémissant doucement dans les lourdes ténèbres,
Qui dégagent leur aile et prennent leur essor,
Teintés d'azur, glacés de rose, lamés d'or.

Voilà le souvenir enivrant qui voltige
Dans l'air troublé; les yeux se ferment; le Vertige
Saisit l'âme vaincue et la pousse à deux mains
Vers un gouffre obscurci de miasmes humains;

Il la terrasse au bord d'un gouffre séculaire,
Où, Lazare odorant déchirant son suaire,
Se meut dans son réveil le cadavre spectral
D'un vieil amour ranci, charmant et sépulcral.

Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire
Des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire
Quand on m'aura jeté, vieux flacon désolé,
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Je serai ton cercueil, aimable pestilence!
Le témoin de ta force et de ta virulence,
Cher poison préparé par les anges! Liqueur
Qui me ronge, ô la vie et la mort de mon cœur!

XLIX
LE POISON

Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
D'un luxe miraculeux,
Et fait surgir plus d'un portique fabuleux
Dans l'or de sa vapeur rouge,
Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.

L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes,
Allonge l'illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté,
Et de plaisirs noirs et mornes
Remplit l'âme au delà de sa capacité.

Tout cela ne vaut pas le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers...
Mes songes viennent en foule
Pour se désaltérer à ces gouffres amers.

Tout cela ne vaut pas le terrible prodige
De ta salive qui mord,
Qui plonge dans l'oubli mon âme sans remord,
Et, charriant le vertige,
La roule défaillante aux rives de la mort!

русский

L
CIEL BROUILLÉ

On dirait ton regard d'une vapeur couvert;
Ton œil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert?)
Alternativement tendre, rêveur, cruel,
Réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel.

Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,
Qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés
Quand, agités d'un mal inconnu qui les tord,
Les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort.

Tu ressembles parfois à ces beaux horizons
Qu'allument les soleils des brumeuses saisons...
Comme tu resplendis, paysage mouillé
Qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé!

Ô femme dangereuse, ô séduisants climats!
Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas,
Et saurai-je tirer de l'implacable hiver
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer?

русский

LI LE CHAT

I

Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu'en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l'entend à peine,

Tant son timbre est tendre et discret;
Mais que sa voix s'apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde,
C'est là son charme et son secret.

Cette voix, qui perle et qui filtre,
Dans mon fonds le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouit comme un philtre.

Elle endort les plus cruels maux
Et contient toutes les extases;
Pour dire les plus longues phrases,
Elle n'a pas besoin de mots.

Non, il n'est pas d'archet qui morde
Sur mon cœur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde,

Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu'harmonieux!

II

De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu'un soir
J'en fus embaumé, pour l'avoir
Caressée une fois, rien qu'une.

C'est l'esprit familial du lieu;
Il juge, il préside, il inspire

Toutes choses dans son empire;
Peut-être est-il fée, est-il dieu?

Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,

Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.

русский

LII LE BEAU NAVIRE

Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
Les diverses beautés qui parent ta jeunesse;
Je veux te peindre ta beauté,
Où l'enfance s'allie à la maturité.

Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large,
Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large,
Chargé de toile, et va roulant
Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent.

Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses,
Ta tête se pavane avec d'étranges grâces;
D'un air placide et triomphant
Tu passes ton chemin, majestueuse enfant.

Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
Les diverses beautés qui parent ta jeunesse;
Je veux te peindre ta beauté,
Où l'enfance s'allie à la maturité.

Ta gorge qui s'avance et qui pousse la moire,
Ta gorge triomphante est une belle armoire
Dont les panneaux bombés et clairs
Comme les boucliers accrochent des éclairs;

Boucliers provoquants, armés de pointes roses!
Armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses,
De vins, de parfums, de liqueurs
Qui feraient délirer les cerveaux et les cœurs!

Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large,
Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large,
Chargé de toile, et va roulant

Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent.

Tes nobles jambes, sous les volants qu'elles chassent,
Tourmentent les désirs obscurs et les agacent,
Comme deux sorcières qui font
Tourner un philtre noir dans un vase profond.

Tes bras, qui se joueraient des précoces hercules,
Sont des boas luisants les solides émules,
Faits pour serrer obstinément,
Comme pour l'imprimer dans ton cœur, ton amant.

Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses,
Ta tête se pavane avec d'étrange grâces;
D'un air placide et triomphant
Tu passes ton chemin, majestueuse enfant.

русский

LIII L'INVITATION AU VOYAGE

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

русский

LIV L'IRRÉPARABLE

Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords,
Qui vit, s'agite et se tortille,
Et se nourrit de nous comme le ver des morts,
Comme du chêne la chenille?
Pouvons-nous étouffer l'implacable Remords?

Dans quel philtre, dans quel vin, dans quelle tisane,
Noierons-nous ce vieil ennemi,
Destructeur et gourmand comme la courtisane,
Patient comme la fourmi?
Dans quel philtre? – dans quel vin? – dans quelle tisane?

Dis-le, belle sorcière, oh! Dis, si tu le sais,
À cet esprit comblé d'angoisse
Et pareil au mourant qu'écrasent les blessés,
Que le sabot du cheval froisse,
Dis-le, belle sorcière, oh! dis, si tu le sais,

À cet agonisant que le loup déjà flaire
Et que surveille le corbeau,
À ce soldat brisé! S'il faut qu'il désespère
D'avoir sa croix et son tombeau;
Ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire!

Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir?
Peut-on déchirer des ténèbres
Plus denses que la poix, sans matin et sans soir,

Sans astres, sans éclairs funèbres?
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir?

L'espérance qui brille aux carreaux de l'Auberge
Est soufflée, est morte à jamais!
Sans lune et sans rayons, trouver où l'on héberge
Les martyrs d'un chemin mauvais!
Le Diable a tout éteint aux carreaux de l'auberge!

Adorable sorcière, aimes-tu les damnés?
Dis, connais-tu l'irrémissible?
Connais-tu le Remords, aux traits empoisonnés,
À qui notre cœur sert de cible?
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés?

L'Irréparable ronge avec sa dent maudite
Notre âme, piteux monument,
Et souvent il attaque, ainsi que le termite,
Par la base le bâtiment.
L'Irréparable ronge avec sa dent maudite!

– J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal
Qu'enflammait l'orchestre sonore,
Une fée allumer dans un ciel infernal
Une miraculeuse aurore;
J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal

Un être, qui n'était que lumière, or et gaze,
Terrasser l'énorme Satan;
Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase,
Est un théâtre où l'on attend
Toujours, toujours en vain, l'Être aux ailes de gaze!

русский

LV CAUSERIE

Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose!
Mais la tristesse en moi monte comme la mer,
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose
Le souvenir cuisant de son limon amer.

– Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme;
Ce qu'elle cherche, amie, est un lieu saccagé
Par la griffe et la dent féroce de la femme.
Ne cherchez plus mon cœur; les bêtes l'ont mangé.

Mon cœur est un palais flétri par la cohue;
On s'y soûle, on s'y tue, on s'y prend aux cheveux!
– Un parfum nage autour de votre gorge nue!...

Ô Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux!
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,
Calcine ces lambeaux qu'ont épargnés les bêtes!

русский

LVI
CHANT D'AUTOMNE

I

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!
J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.

Tout l'hiver va rentrer dans mon être: colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé.

J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe;
L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.

Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui? – c'était hier l'été; voici l'automne!
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

II

J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Et pourtant aimez-moi, tendre cœur! Soyez mère
Même pour un ingrat, même pour un méchant;
Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère
D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant.

Courte tâche! La tombe attend; elle est avide!
Ah! Laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l'été blanc et torride,
De l'arrière-saison le rayon jaune et doux!

русский

LVII
À UNE MADONE

EX-VOTO DANS LE GOÛT ESPAGNOL

Je veux bâtir pour toi, Madone, ma maîtresse,
Un autel souterrain au fond de ma détresse,
Et creuser dans le coin le plus noir de mon cœur,
Loin du désir mondain et du regard moqueur,
Une niche, d'azur et d'or tout émaillée,
Où tu te dresseras, Statue émerveillée.
Avec mes Vers polis, treillis d'un pur métal
Savamment constellé de rimes de cristal,
Je ferai pour ta tête une énorme Couronne;
Et dans ma Jalousie, ô mortelle Madone,
Je saurai te tailler un Manteau, de façon
Barbare, roide et lourd, et doublé de soupçon,
Qui, comme une guérite, enfermera tes charmes;
Non de Perles brodé, mais de toutes mes Larmes!
Ta Robe, ce sera mon Désir, frémissant,
Onduleux, mon Désir qui monte et qui descend,
Aux pointes se balance, aux vallons se repose,
Et revêt d'un baiser tout ton corps blanc et rose.
Je te ferai de mon Respect de beaux Souliers
De satin, par tes pieds divins humiliés,
Qui, les emprisonnant dans une molle étreinte,
Comme un moule fidèle en garderont l'empreinte.
Si je ne puis, malgré tout mon art diligent,
Pour Marchepied tailler une Lune d'argent,
Je mettrai le Serpent qui me mord les entrailles
Sous tes talons, afin que tu foules et railles,
Reine victorieuse et féconde en rachats,
Ce monstre tout gonflé de haine et de crachats.
Tu verras mes Penses, rangés comme les Cierges
Devant l'autel fleuri de la Reine des Vierges,
Étoilant de reflets le plafond peint en bleu,
Te regarder toujours avec des yeux de feu;
Et comme tout en moi te chérit et t'admire,
Tout se fera Benjoin, Encens, Oliban, Myrrhe,
Et sans cesse vers toi, sommet blanc et neigeux,
En Vapeurs montera mon Esprit orageux.

Enfin, pour compléter ton rôle de Marie,
Et pour mêler l'amour avec la barbarie,
Volupté noire! Des sept Péchés capitaux,
Bourreau plein de remords, je ferai sept couteaux
Bien affilés, et comme un jongleur insensible,
Prenant le plus profond de ton amour pour cible,
Je les planterai tous dans ton Cœur pantelant,
Dans ton Cœur sanglotant, dans ton Cœur ruisselant!

LVIII
CHANSON D'APRÈS-MIDI

Quoique tes sourcils méchants
Te donnent un air étrange
Qui n'est pas celui d'un ange,
Sorcière aux yeux alléchants,

Je t'adore, ô ma frivole,
Ma terrible passion!
Avec la dévotion
Du prêtre pour son idole.

Le désert et la forêt
Embaument tes tresses rudes,
Ta tête a les attitudes
De l'énigme et du secret.

Sur ta chair le parfum rôde
Comme autour d'un encensoir;
Tu charmes comme le soir,
Nymphé ténébreuse et chaude.

Ah! Les philtres les plus forts
Ne valent pas ta paresse,
Et tu connais la caresse
Qui fait revivre les morts!

Tes hanches sont amoureuses
De ton dos et de tes seins,
Et tu ravis les coussins
Par tes poses langoureuses.

Quelquefois, pour apaiser
Ta rage mystérieuse,
Tu prodigues, sérieuse,
La morsure et le baiser;

Tu me déchires, ma brune,
Avec un rire moqueur,
Et puis tu mets sur mon cœur
Ton œil doux comme la lune.

Sous tes souliers de satin,
Sous tes charmants pieds de soie,
Moi, je mets ma grande joie,
Mon génie et mon destin,

Mon âme par toi guérie,

Par toi, lumière et couleur!
Explosion de chaleur
Dans ma noire Sibérie!

русский

LIX
SISINA

Imaginez Diane en galant équipage,
Parcourant les forêts ou battant les halliers,
Cheveux et gorge au vent, s'enivrant de tapage,
Superbe et défiant les meilleurs cavaliers!

Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage,
Excitant à l'assaut un peuple sans souliers,
La joue et œil en feu, jouant son personnage,
Et montant, sabre au poing, les royaux escaliers?

Telle la Sisina! Mais la douce guerrière
À l'âme charitable autant que meurtrière;
Son courage, affolé de poudre et de tambours,

Devant les suppliants sait mettre bas les armes,
Et son cœur, ravagé par la flamme, a toujours,
Pour qui s'en montre digne, un réservoir de larmes.

русский

LX
FRANCISCÆ MEÆ LAUDES

Novis te cantabo chordis,
O novelletum quod ludis
In solitudine cordis.

Esto sertis implicata,
O femina delicata
Per quam solvuntur peccata!

Sicut beneficum Lethe,
Hauriam oscula de te,
Quae imbuta es magnete.

Quum vitiorum tempestas
Turbabat omnes semitas,
Apparuisti, Deitas,

Velut stella salutaris

In naufragiis amaris...
Suspendam cor tuis aris!

Piscina plena virtutis,
Fons aeternae juventutis,
Labris vocem redde mutis!

Quod erat spurcum, cremasti;
Quod ruidius, exaequasti;
Quod debile, confirmasti.

In fame mea taberna,
In nocte mea lucerna,
Recte me semper gubernas.

Adde nunc vires viribus,
Dulce balneum suavibus
Unguentatum odoribus!

Meos circa lumbos mica,
O castitatis lorica,
Aqua tincta seraphica;

Patera gemmis corusca,
Panis salsus, mollis esca,
Divinum vinum, Francisca!

русский

LXI
À UNE DAME CRÉOLE

Au pays parfumé que le soleil caresse,
J'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourprés
Et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse,
Une dame créole aux charmes ignorés.

Son teint est pâle et chaud; la brune enchanteresse
A dans le cou des airs noblement maniérés;
Grande et svelte en marchant comme une chasseresse,
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés.

Si vous alliez, Madame, au vrai pays de gloire,
Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire,
Belle digne d'orner les antiques manoirs,

Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites,
Germer mille sonnets dans le cœur des poètes,
Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos Noirs.

русский

LXII
MÆSTA ET ERRABUNDA

Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe,
Loin du noir océan de l'immonde cité,
Vers un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité?
Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe?

La mer, la vaste mer, console nos labeurs!
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs,
De cette fonction sublime de berceuse?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs!

Emporte-moi, wagon! Enlève-moi, frégate!
Loin! Loin! Ici la boue est faite de nos pleurs!
– Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe
Dise: Loin des remords, des crimes, des douleurs,
Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate?

Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie,
Où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé,
Où dans la volupté pure le cœur se noie!
Comme vous êtes loin, paradis parfumé!

Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
– Mais le vert paradis des amours enfantines,

L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l'animer encor d'une voix argentine,
L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs?

русский

LXIII
LE REVENANT

Comme les anges à l'œil fauve,
Je reviendrai dans ton alcôve
Et vers toi glisserai sans bruit
Avec les ombres de la nuit;

Et je te donnerai, ma brune,
Des baisers froids comme la lune
Et des caresses de serpent
Autour d'une fosse rampant.

Quand viendra le matin livide,
Tu trouveras ma place vide,
Où jusqu'au soir il fera froid.

Comme d'autres par la tendresse,
Sur ta vie et sur ta jeunesse,
Moi, je veux régner par l'effroi.

русский

LXIV SONNET D'AUTOMNE

Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal:
"Pour toi, bizarre amant, quel est donc mon mérite?"
– Sois charmante et tais-toi! Mon cœur, que tout irrite,
Excepté la candeur de l'antique animal,

Ne veut pas te montrer son secret infernal,
Berceuse dont la main aux longs sommeils m'invite,
Ni sa noire légende avec la flamme écrite.
Je hais la passion et l'esprit me fait mal!

Aimons-nous doucement. L'Amour dans sa guérite,
Ténébreux, embusqué, bande son arc fatal.
Je connais les engins de son vieil arsenal:

Crime, horreur et folie! – Ô pâle marguerite!
Comme moi n'es-tu pas un soleil automnal,
Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite?

русский

LXV TRISTESSES DE LA LUNE

Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;
Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins,
Qui d'une main distraite et légère caresse
Avant de s'endormir le contour de ses seins,

Sur le dos satiné des molles avalanches,
Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,

Et promène ses yeux sur les visions blanches
Qui montent dans l'azur comme des floraisons.

Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive,
Elle laisse filer une larme furtive,
Un poète pieux, ennemi du sommeil,

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle,
Aux reflets irisés comme un fragment d'opale,
Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil.

русский

LXVI LES CHATS

Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté,
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres;
L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,
Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

русский

LXVII LES HIBOUX

Sous les ifs noirs qui les abritent,
Les hiboux se tiennent rangés,
Ainsi que des dieux étrangers,
Dardant leur œil rouge. Ils méditent.

Sans remuer ils se tiendront
Jusqu'à l'heure mélancolique
Où, poussant le soleil oblique,
Les ténèbres s'établiront.

Leur attitude au sage enseigne
Qu'il faut en ce monde qu'il craigne
Le tumulte et le mouvement;

L'homme ivre d'une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D'avoir voulu changer de place.

русский

LXVIII
LA PIPE

Je suis la pipe d'un auteur;
On voit, à contempler ma mine
D'Abyssinienne ou de Cafrine,
Que mon maître est un grand fumeur.

Quand il est comblé de douleur,
Je fume comme la chaumine
Où se prépare la cuisine
Pour le retour du laboureur.

J'enlace et je berce son âme
Dans le réseau mobile et bleu
Qui monte de ma bouche en feu,

Et je roule un puissant dictame
Qui charme son cœur et guérit
De ses fatigues son esprit.

русский

LXIX
LA MUSIQUE

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile;

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir!

русский

LXX
SÉPULTURE

Si par une nuit lourde et sombre
Un bon chrétien, par charité,
Derrière quelque vieux décombre
Enterre votre corps vanté,

À l'heure où les chastes étoiles
Ferment leurs yeux appesantis,
L'araignée y fera ses toiles,
Et la vipère ses petits;

Vous entendrez toute l'année
Sur votre tête condamnée
Les cris lamentables des loups

Et des sorcières faméliques,
Les ébats des vieillards lubriques
Et les complots des noirs filous.

русский

LXXI
UNE GRAVURE FANTASTIQUE

Ce spectre singulier n'a pour toute toilette,
Grotesquement campé sur son front de squelette,
Qu'un diadème affreux sentant le carnaval.
Sans éperons, sans fouet, il essouffle un cheval,
Fantôme comme lui, rosse apocalyptique,
Qui bave des naseaux comme un épileptique.
Au travers de l'espace ils s'enfoncent tous deux,
Et foulent l'infini d'un sabot hasardeux.
Le cavalier promène un sabre qui flamboie
Sur les foules sans nom que sa monture broie,
Et parcourt, comme un prince inspectant sa maison,
Le cimetière immense et froid, sans horizon,
Où gisent, aux lueurs d'un soleil blanc et terne,
Les peuples de l'histoire ancienne et moderne.

русский

LXXII
LE MORT JOYEUX

Dans une terre grasse et pleine d'escargots
Je veux creuser moi-même une fosse profonde,
Où je puisse à loisir étaler mes vieux os
Et dormir dans l'oubli comme une requin dans l'onde.

Je hais les testaments et je hais les tombeaux;
Plutôt que d'implorer une larme du monde,
Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux
À saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.

Ô vers! Noirs compagnons sans oreille et sans yeux,
Voyez venir à vous un mort libre et joyeux;
Philosophes viveurs, fils de la pourriture,

À travers ma ruine allez donc sans remords,
Et dites-moi s'il est encor quelque torture
Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts!

русский

LXXIII
LE TONNEAU DE LA HAINE

La Haine est le tonneau des pâles Danaïdes;
La Vengeance éperdue aux bras rouges et forts
A beau précipiter dans ses ténèbres vides
De grands seaux pleins du sang et des larmes des morts,

Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes,
Par où fuiraient mille ans de sueurs et d'efforts,
Quand même elle saurait ranimer ses victimes,
Et pour les pressurer ressusciter leurs corps.

La Haine est un ivrogne au fond d'une taverne,
Qui sent toujours la soif naître de la liqueur
Et se multiplier comme l'hydre de Lerne.

– Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,
Et la Haine est vouée à ce sort lamentable
De ne pouvoir jamais s'endormir sous la table.

русский

LXXIV
LA CLOCHE FÊLÉE

Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume.

Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,
Jette fidèlement son cri religieux,
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente!

Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits,
Il arrive souvent que sa voix affaiblie

Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts,
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts.

русский

LXXV
SPLEEN

Pluviôse, irrité contre la ville entière,
De son urne à grands flots verse un froid ténébreux
Aux pâles habitants du voisin cimetière
Et la mortalité sur les faubourgs brumeux.

Mon chat sur le carreau cherchant une litière
Agite sans repos son corps maigre et galeux;
L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière
Avec la triste voix d'un fantôme frileux.

Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée
Accompagne en fausset la pendule enrhumée,
Pendant qu'en un jeu plein de sales parfums,

Héritage fatal d'une vieille hydropique,
Le beau valet de cœur et la dame de pique
Causent sinistrement de leurs amours défunts.

русский

LXXVI
SPLEEN

J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,
De vers, de billets doux, de procès, de romances,
Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,
Cache moins de secrets que mon triste cerveau.
C'est une pyramide, un immense caveau,

Qui contient plus de morts que la fosse commune.
– Je suis un cimetière abhorré de la lune,
Où comme des remords se traînent de longs vers
Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers.
Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,
Où gît tout un fouillis de modes surannées,
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher,
Seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché.

Rien n'égale en longueur les boîteuses journées,
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années
L'ennui, fruit de la morne incuriosité,
Prend les proportions de l'immortalité.
– Désormais tu n'es plus, ô matière vivante!
Qu'un granit entouré d'une vague épouvante,
Assoupi dans le fond d'un Saharah brumeux;
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux,
Oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche
Ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.

русский

LXXVII SPLEEN

Je suis comme le roi d'un pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très-vieux,
Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes,
S'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes.
Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon,
Ni son peuple mourant en face du balcon.
Du bouffon favori la grotesque ballade
Ne distrait plus le front de ce cruel malade;
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau,
Et les dames d'atour, pour qui tout prince est beau,
Ne savent plus trouver d'impudique toilette
Pour tirer un souris de ce jeune squelette.
Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu
De son être extirper l'élément corrompu,
Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent,
Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent,
Il n'a su réchauffer ce cadavre hébété
Où coule au lieu de sang l'eau verte du Léthé.

LXXVIII
SPLEEN

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,
S'en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées,
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

русский

LXXIX
OBSESSION

Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales;
Vous hurlez comme l'orgue; et dans nos cœurs maudits,
Chambres d'éternel deuil où vibrent de vieux râles,
Répondent les échos de vos *De profundis*.

Je te hais, Océan! Tes bonds et tes tumultes,
Mon esprit les retrouve en lui; ce rire amer
De l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes,
Je l'entends dans le rire énorme de la mer.

Comme tu me plairais, ô nuit! Sans ces étoiles
Dont la lumière parle un langage connu!
Car je cherche le vide, et le noir, et le nu!

Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers,
Des êtres disparus aux regards familiers.

русский

LXXX
LE GOÛT DU NÉANT

Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,
L'espoir, dont l'éperon attisait ton ardeur,
Ne veut plus t'enfourcher! Couche-toi sans pudeur,
Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute.

Résigne-toi, mon cœur; dors ton sommeil de brute.

Esprit vaincu, fourbu! Pour toi, vieux maraudeur,
L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute;
Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte!
Plaisirs, ne tentez plus un cœur sombre et boudeur!

Le Printemps adorable a perdu son odeur!

Et le Temps m'engloutit minute par minute,
Comme la neige immense un corps pris de roideur;
Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur
Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute.

Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute?

русский

LXXXI
ALCHIMIE DE LA DOULEUR

L'un t'éclaire avec son ardeur,
L'autre en toi met son deuil, Nature!
Ce qui dit à l'un: Sépulture!
Dit à l'autre: Vie et splendeur!

Hermès inconnu qui m'assistes
Et qui toujours m'intimidas,
Tu me rends l'égal de Midas,
Le plus triste des alchimistes;

Par toi je change l'or en fer
Et le paradis en enfer;
Dans le suaire des nuages

Je découvre un cadavre cher,
Et sur les célestes rivages
Je bâtis de grands sarcophages.

русский

LXXXII
HORREUR SYMPATHIQUE

De ce ciel bizarre et livide,
Tourmenté comme ton destin,
Quels pensers dans ton âme vide
Descendent? Réponds, libertin.

– Insatiablement avide
De l'obscur et de l'incertain,
Je ne geindrai pas comme Ovide
Chassé du paradis latin.

Cieux déchirés comme des grèves,
En vous se mire mon orgueil;
Vos vastes nuages en deuil

Sont les corbillards de mes rêves,
Et vos lueurs sont le reflet
De l'Enfer où mon cœur se plaît.

русский

LXXXIII
L'HÉAUTONTIMOROUMÉNOS

À J.G.F.

Je te frapperai sans colère
Et sans haine, comme un boucher,
Comme Moïse le rocher!
Et je ferai de ta paupière,

Pour abreuver mon Saharah,
Jaillir les eaux de la souffrance.
Mon désir gonflé d'espérance
Sur tes pleurs salés nagera

Comme un vaisseau qui prend le large,
Et dans mon cœur qu'ils souleront
Tes chers sanglots retentiront
Comme un tambour qui bat la charge!

Ne suis-je pas un faux accord

Dans la divine symphonie,
Grâce à la vorace Ironie
Qui me secoue et qui me mord?

Elle est dans ma voix, la criarde!
C'est tout mon sang, ce poison noir!
Je suis le sinistre miroir
Où la mégère se regarde!

Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau!

Je suis de mon cœur le vampire,
– Un de ces grands abandonnés
Au rire éternel condamnés,
Et qui ne peuvent plus sourire!

русский

LXXXIV L'IRRÉMÉDIABLE

I

Une Idée, une Forme, un Être
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul œil du Ciel ne pénètre;

Un Ange, imprudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme,
Au fond d'un cauchemar énorme
Se débattant comme un nageur,

Et luttant, angoisses funèbres!
Contre un gigantesque remous
Qui va chantant comme les fous
Et pirouettant dans les ténèbres;

Un malheureux ensorcelé
Dans ses tâtonnements futiles,
Pour fuir d'un lieu plein de reptiles,
Cherchant la lumière et la clé;

Un damné descendant sans lampe,
Au bord d'un gouffre dont l'odeur
Trahit l'humide profondeur,
D'éternels escaliers sans rampe,

Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu'eux;

Un navire pris dans le pôle,
Comme en un piège de cristal,
Cherchant par quel détroit fatal
Il est tombé dans cette geôle;

– Emblèmes nets, tableau parfait
D'une fortune irrémédiable,
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!

II

Tête-à-tête sombre et limpide
Qu'un cœur devenu son miroir!
Puits de Vérité, clair et noir,
Où tremble une étoile livide,

Un phare ironique, infernal,
Flambeau des grâces sataniques,
Soulagement et gloire uniques,
– La conscience dans le Mal!

русский

LXXXV L'HORLOGE

Horloge! Dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: "*Souviens-toi!*
Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;

Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
À chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote: "*Souviens-toi!*" – Rapide, avec sa voix
D'insecte, maintenant dit: je suis Autrefois,
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!

Remember! Souviens-toi! Prodigue! Esto memor!
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or!

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! C'est la loi.
Le jour décroît; la nuit augmente; *souviens-toi!*
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard,
Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le Repentir même (oh! La dernière auberge!),
Où tout te dira: Meurs, vieux lâche! Il est trop tard!"

русский

TABLEAUX PARISIENS

LXXXVI PAYSAGE

Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers, écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d'éternité.

Il est doux, à travers les brumes, de voir naître
L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre,
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement.
Je verrai les printemps, les étés, les automnes;
Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin.
L'Émeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
Car je serai plongé dans cette volupté
D'évoquer le Printemps avec ma volonté,
De tirer un soleil de mon cœur, et de faire
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.

русский

LXXXVII

LE SOLEIL

Le long du vieux faubourg, où pendent aux mesures
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.

Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les roses;
Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir!

Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles,
Et s'introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.

русский

LXXXVIII À UNE MENDIANTE ROUSSE

Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses trous
Laisse voir la pauvreté
Et la beauté,

Pour moi, poète chétif,
Ton jeune corps maladif,
Plein de taches de rousseur,
A sa douceur.

Tu portes plus galamment
Qu'une reine de roman
Ses cothurnes de velours
Tes sabots lourds.

Au lieu d'un haillon trop court,
Qu'un superbe habit de cour
Traîne à plis bruyants et longs
Sur tes talons;

En place de bas troués,
Que pour les yeux des roués
Sur ta jambe un poignard d'or
Reluise encor;

Que des nœuds mal attachés
Dévoilent pour nos péchés
Tes deux beaux seins, radieux
Comme des yeux;

Que pour te déshabiller
Tes bras se fassent prier
Et chassent à coups mutins
Les doigts lutins,

Perles de la plus belle eau,
Sonnets de maître Belleau
Par tes galants mis aux fers
Sans cesse offerts,

Valetaille de rimeurs
Te dédiant leurs primeurs
Et contemplant ton soulier
Sous l'escalier,

Maint page épris du hasard,
Maint seigneur et maint Ronsard
Épieraient pour le déduit
Ton frais réduit!

Tu compterais dans tes lits
Plus de baisers que de lis
Et rangerais sous tes lois
Plus d'un Valois!

– Cependant tu vas gueusant
Quelque vieux débris gisant
Au seuil de quelque Véfour
De carrefour;

Tu vas lorgnant en dessous
Des bijoux de vingt-neuf sous
Dont je ne puis, oh! Pardon!
Te faire don.

Va donc, sans autre ornement,
Parfum, perles, diamant,
Que ta maigre nudité,
Ô ma beauté!

русский

LXXXIX
LE CYGNE

À Victor Hugo.

I

Andromaque, je pense à vous! Ce petit fleuve,
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit
L'immense majesté de vos douleurs de veuve,
Ce Simois menteur qui par vos pleurs grandit,

A fécondé soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.
Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite, hélas! Que le cœur d'un mortel);

Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,
Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.

Là s'étalait jadis une ménagerie;
Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux
Froids et clairs le Travail s'éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,

Un cygne qui s'était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal:
"Eau, quand donc pleuvras-tu? Quand tonneras-tu, foudre?"
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,

Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s'il adressait des reproches à Dieu!

II

Paris change! Mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé! Palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.

Aussi, devant ce Louvre une image m'opprime:
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,

Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d'un désir sans trêve! Et puis à vous,

Andromaque, des bras d'un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Après d'un tombeau vide en extase courbée;
Veuve d'Hector, hélas! Et femme d'Hélénus!

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, œil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard;

À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais, jamais! À ceux qui s'abreuvent de pleurs
Et têtent la Douleur comme une bonne louve!
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs!

Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus!... À bien d'autres encor!

русский

XC LES SEPT VIEILLARDS

À Victor Hugo.

Fourmillante cité, cité pleine de rêves,
Où le spectre en plein jour raccroche le passant!
Les mystères partout coulent comme des sèves
Dans les canaux étroits du colosse puissant.

Un matin, cependant que dans la triste rue
Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur,
Simulaient les deux quais d'une rivière accrue,
Et que, décor semblable à l'âme de l'acteur,

Un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace,
Je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros
Et discutant avec mon âme déjà lasse,
Le faubourg secoué par les lourds tombereaux.

Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes
Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux,
Et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes,
Sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux,

M'apparut. On eût dit sa prunelle trempée

Dans le fiel; son regard aiguïsait les frimas,
Et sa barbe à longs poils, roide comme une épée
Se projetait, pareille à celle de Judas.

Il n'était pas voûté, mais cassé, son échine
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Si bien que son bâton, parachevant sa mine,
Lui donnait la tournure et le pas maladroit

D'un quadrupède infirme ou d'un Juif à trois pattes.
Dans la neige et la boue il allait s'empêtrant,
Comme s'il écrasait des morts sous ses savates,
Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent.

Son pareil le suivait: barbe, œil, dos, bâton, loques,
Nul trait ne distinguait, du même enfer venu,
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques
Marchaient du même pas vers un but inconnu.

À quel complot infâme étais-je donc en butte,
Ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait?
Car je comptai sept fois, de minute en minute,
Ce sinistre vieillard qui se multipliait!

Que celui-là qui rit de mon inquiétude,
Et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel,
Songe bien que malgré tant de décrépitude
Ces sept monstres hideux avaient l'air éternel!

Aurais-je, sans mourir, contemplé le huitième,
Sosie inexorable, ironique et fatal,
Dégoutant Phénix, fils et père de lui-même?
– Mais je tournais le dos au cortège infernal.

Exaspéré comme un ivrogne qui voit double,
Je rentraï, je fermai ma porte, épouvanté,
Malade et morfondu, l'esprit fiévreux et trouble,
Blessé par le mystère et par l'absurdité!

Vainement ma raison voulait prendre la barre;
La tempête en jouant déroutait ses efforts,
Et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords!

русский

XCI
LES PETITES VIEILLES

À Victor Hugo

I

Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Des êtres singuliers, décrépits et charmants.

Ces monstres disloqués furent jadis des femmes,
Éponyme ou Laïs! Monstres brisés, bossus
Ou tordus, aimons-les! Ce sont encor des âmes.
Sous des jupons troués et sous de froids tissus

Ils rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
Et serrant sur leur flanc, ainsi que des reliques,
Un petit sac brodé de fleurs ou de rébus;

Ils trottent, tout pareils à des marionnettes;
Se traînent, comme font les animaux blessés,
Ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes
Où se pend un Démon sans pitié! Tout cassés

Qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille,
Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit;
Ils ont les yeux divins de la petite fille
Qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit.

– Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles
Sont presque aussi petits que celui d'un enfant?
La mort savante met dans ces bières pareilles
Un symbole d'un goût bizarre et captivant,

Et lorsque j'entrevois un fantôme débile
Traversant de Paris le fourmillant tableau,
Il me semble toujours que cet être fragile
S'en va tout doucement vers un nouveau berceau;

À moins que, méditant sur la géométrie,
Je ne cherche, à l'aspect de ces membres discords,
Combien de fois il faut que l'ouvrier varie
La forme d'une boîte où l'on met tous ces corps.

– Ces yeux sont des puits faits d'un million de larmes,
Des creusets qu'un métal refroidi pailleta...
Ces yeux mystérieux ont d'invincibles charmes
Pour celui que l'austère Infortune allaita!

II

De Frascati défunt Vestale enamourée;
Prêtresse de Thalie, hélas! Dont le souffleur
Enterré sait le nom; célèbre évaporée

Que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur,

Toutes m'enivrent! Mais parmi ces êtres frêles
Il en est qui, faisant de la douleur un miel,
Ont dit au Dévouement qui leur prêtait ses ailes:
Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel!

L'une, par sa patrie au malheur exercée,
L'autre, que son époux surchargea de douleurs,
L'autre, par son enfant Madone transpercée,
Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs!

III

Ah! Que j'en ai suivi de ces petites vieilles!
Une, entre autres, à l'heure où le soleil tombant
Ensanglante le ciel de blessures vermeilles,
Pensive, s'asseyait à l'écart sur un banc,

Pour entendre un de ces concerts, riches de cuivre,
Dont les soldats parfois inondent nos jardins,
Et qui, dans ces soirs d'or où l'on se sent revivre,
Versent quelque héroïsme au cœur des citadins.

Celle-là, droite encor, fière et sentant la règle,
Humait avidement ce chant vif et guerrier;
Son œil parfois s'ouvrait comme œil d'un vieil aigle;
Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier!

IV

Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes,
À travers le chaos des vivantes cités,
Mères au cœur saignant, courtisanes ou saintes,
Dont autrefois les noms par tous étaient cités.

Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire,
Nul ne vous reconnaît! Un ivrogne incivil
Vous insulte en passant d'un amour dérisoire;
Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil.

Honteuses d'exister, ombres ratatinées,
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs;
Et nul ne vous salue, étranges destinées!
Débris d'humanité pour l'éternité mûrs!

Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille,
Œil inquiet, fixé sur vos pas incertains,
Tout comme si j'étais votre père, ô merveille!
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins:

Je vois s'épanouir vos passions novices;

Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus;
Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices!
Mon âme resplendit de toutes vos vertus!

Ruines! Ma famille! Ô cerveaux congénères!
Je vous fais chaque soir un solennel adieu!
Où serez-vous demain, Èves octogénaires,
Sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu?

русский

XСII LES AVEUGLES

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!
Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;
Terribles, singuliers comme les somnambules;
Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.

Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie,
Comme s'ils regardaient au loin, restent levés
Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés
Pencher rêveusement leur tête appesantie.

Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. Ô cité!
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité,
Vois! Je me traîne aussi! Mais, plus qu'eux hébété,
Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?

русский

XСIII À UNE PASSANTE

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... Puis la nuit! – Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?

Ailleurs, bien loin d'ici! Trop tard! *jamais* peut-être!
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!

русский

XCIV LE SQUELETTE LABOUREUR

I

Dans les planches d'anatomie
Qui traînent sur ces quais poudreux
Où maint livre cadavéreux
Dort comme une antique momie,

Dessins auxquels la gravité
Et le savoir d'un vieil artiste,
Bien que le sujet en soit triste,
Ont communiqué la Beauté,

On voit, ce qui rend plus complètes
Ces mystérieuses horreurs,
Bêchant comme des laboureurs,
Des Écorchés et des Squelettes.

II

De ce terrain que vous fouillez,
Manants résignés et funèbres,
De tout l'effort de vos vertèbres,
Ou de vos muscles dépouillés,

Dites, quelle moisson étrange,
Forçats arrachés au charnier,
Tirez-vous, et de quel fermier
Avez-vous à remplir la grange?

Voulez-vous (d'un destin trop dur
Épouvantable et clair emblème!)
Montrer que dans la fosse même
Le sommeil promis n'est pas sûr;

Qu'envers nous le Néant est traître;
Que tout, même la Mort, nous ment,
Et que sempiternellement,
Hélas! Il nous faudra peut-être

Dans quelque pays inconnu

Écorcher la terre revêche
Et pousser une lourde bêche
Sous notre pied sanglant et nu?

русский

XCV
LE CRÉPUSCULE DU SOIR

Voici le soir charmant, ami du criminel;
Il vient comme un complice, à pas de loup; le ciel
Se ferme lentement comme une grande alcôve,
Et l'homme impatient se change en bête fauve.

Ô soir, aimable soir, désiré par celui
Dont les bras, sans mentir, peuvent dire: Aujourd'hui
Nous avons travaillé! - c'est le soir qui soulage
Les esprits que dévore une douleur sauvage,
Le savant obstiné dont le front s'alourdit,
Et l'ouvrier courbé qui regagne son lit.
Cependant des démons malsains dans l'atmosphère
S'éveillent lourdement, comme des gens d'affaire,
Et cognent en volant les volets et l'auvent.
À travers les lueurs que tourmente le vent
La Prostitution s'allume dans les rues;
Comme une fourmilière elle ouvre ses issues;
Partout elle se fraye un occulte chemin,
Ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main;
Elle remue au sein de la cité de fange
Comme un ver qui dérobe à l'Homme ce qu'il mange.
On entend çà et là les cuisines siffler,
Les théâtres glapir, les orchestres ronfler;
Les tables d'hôte, dont le jeu fait les délices,
S'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices,
Et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci,
Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi,
Et forcer doucement les portes et les caisses
Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses.

Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment,
Et ferme ton oreille à ce rugissement.
C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent!
La sombre Nuit les prend à la gorge; ils finissent
Leur destinée et vont vers le gouffre commun;
L'hôpital se remplit de leurs soupirs. – Plus d'un
Ne viendra plus chercher la soupe parfumée,
Au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée.

Encore la plupart n'ont-ils jamais connu
La douceur du foyer et n'ont jamais vécu!

XCVI
LE JEU

Dans des fauteuils fanés des courtisanes vieilles,
Pâles, le sourcil peint, œil câlin et fatal,
Minaudant, et faisant de leurs maigres oreilles
Tomber un cliquetis de pierre et de métal;

Autour des verts tapis des visages sans lèvre,
Des lèvres sans couleur, des mâchoires sans dent,
Et des doigts convulsés d'une infernale fièvre,
Fouillant la poche vide ou le sein palpitant;

Sous de sales plafonds un rang de pâles lustres
Et d'énormes quinquets projetant leurs lueurs
Sur des fronts ténébreux de poètes illustres
Qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs;

Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne
Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant.
Moi-même, dans un coin de l'ancre taciturne,
Je me vis accoudé, froid, muet, enviant,

Enviant de ces gens la passion tenace,
De ces vieilles putains la funèbre gaieté,
Et tous gaillardement trafiquant à ma face,
L'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté!

Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme
Courant avec ferveur à l'abîme béant,
Et qui, soûl de son sang, préférerait en somme
La douleur à la mort et l'enfer au néant!

русский

XCVII
DANSE MACABRE

À Ernest Christophe.

Fière, autant qu'un vivant, de sa noble stature,
Avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants,
Elle a la nonchalance et la désinvolture
D'une coquette maigre aux airs extravagants.

Vit-on jamais au bal une taille plus mince?
Sa robe exagérée, en sa royale ampleur,
S'écroule abondamment sur un pied sec que pince

Un soulier pomponné, joli comme une fleur.

La ruche qui se joue au bord des clavicules,
Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher,
Défend pudiquement des lazzi ridicules
Les funèbres appas qu'elle tient à cacher.

Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et son crâne, de fleurs artistement coiffé,
Oscille mollement sur ses frêles vertèbres,
Ô charme d'un néant follement attifé!

Aucuns t'appelleront une caricature,
Qui ne comprennent pas, amants ivres de chair,
L'élégance sans nom de l'humaine armature.
Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher!

Viens-tu troubler, avec ta puissante grimace,
La fête de la Vie? Ou quelque vieux désir,
Éperonnant encor ta vivante carcasse,
Te pousse-t-il, crédule, au sabbat du Plaisir?

Au chant des violons, aux flammes des bougies,
Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur,
Et viens-tu demander au torrent des orgies
De rafraîchir l'enfer allumé dans ton cœur?

Inépuisable puits de sottise et de fautes!
De l'antique douleur éternel alambic!
À travers le treillis recourbé de tes côtes
Je vois, errant encor, l'insatiable aspic.

Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie
Ne trouve pas un prix digne de ses efforts;
Qui, de ces cœurs mortels, entend la raillerie?
Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts!

Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées,
Exhale le vertige, et les danseurs prudents
Ne contempleront pas sans d'amères nausées
Le sourire éternel de tes trente-deux dents.

Pourtant, qui n'a serré dans ses bras un squelette,
Et qui ne s'est nourri des choses du tombeau?
Qu'importe le parfum, l'habit ou la toilette?
Qui fait le dégoûté montre qu'il se croit beau.

Bayadère sans nez, irrésistible gouge,
Dis donc à ces danseurs qui font les offusqués:
"Fiers mignons, malgré l'art des poudres et du rouge,
Vous sentez tous la mort! Ô squelettes musqués,

Antinoüs flétris, dandys à face glabre,
Cadavres vernissés, lovelaces chenus,
Le branle universel de la danse macabre
Vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus!

Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange,
Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir
Dans un trou du plafond la trompette de l'Ange
Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir.

En tout climat, sous tout soleil, la Mort t'admire
En tes contorsions, risible Humanité,
Et souvent, comme toi, se parfumant de myrrhe,
Mêle son ironie à ton insanité!"

русский

XCVIII L'AMOUR DU MENSONGE

Quand je te vois passer, ô ma chère indolente,
Au chant des instruments qui se brise au plafond
Suspendant ton allure harmonieuse et lente,
Et promenant l'ennui de ton regard profond;

Quand je contemple, aux feux du gaz qui le colore,
Ton front pâle, embelli par un morbide attrait,
Où les torches du soir allument une aurore,
Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait,

Je me dis: Qu'elle est belle! Et bizarrement fraîche!
Le souvenir massif, royale et lourde tour,
La couronne, et son cœur, meurtri comme une pêche,
Est mûr, comme son corps, pour le savant amour.

Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines?
Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs,
Parfum qui fait rêver aux oasis lointaines,
Oreiller caressant, ou corbeille de fleurs?

Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques,
Qui ne recèlent point de secret précieux;
Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques,
Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô cieux!

Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence,
Pour réjouir un cœur qui fuit la vérité?
Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence?
Masque ou décor, salut! J'adore ta beauté.

русский

XCIX

Je n'ai pas oublié, voisine de la ville,
Notre blanche maison, petite mais tranquille;
Sa Pomone de plâtre et sa vieille Vénus
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus,
Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe
Qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe,
Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux,
Contempler nos dîners longs et silencieux,
Répandant largement ses beaux reflets de cierge
Sur la nappe frugale et les rideaux de serge.

русский

C

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres,
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
À dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver
Et le siècle couler, sans qu'amis ni famille
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.

Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,
Calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir,
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
Couvrir l'enfant grandi de son œil maternel,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse?

русский

CI
BRUMES ET PLUIES

Ô fins d'automne, hivers, printemps trempés de boue,

Endormeuses saisons! Je vous aime et vous loue
D'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau
D'un linceul vapoureux et d'un vague tombeau.

Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue,
Où par les longues nuits la girouette s'enroue,
Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau
Ouvrira largement ses ailes de corbeau.

Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres,
Et sur qui dès longtemps descendent les frimas,
Ô blafardes saisons, reines de nos climats,

Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres,
– Si ce n'est, par un soir sans lune, deux à deux,
D'endormir la douleur sur un lit hasardeux.

русский

CII RÊVE PARISIEN

À Constantin Guys.

I

De ce terrible paysage,
Tel que jamais mortel n'en vit,
Ce matin encore l'image,
Vague et lointaine, me ravit.

Le sommeil est plein de miracles!
Par un caprice singulier
J'avais banni de ces spectacles
Le végétal irrégulier,

Et, peintre fier de mon génie,
Je savourais dans mon tableau
L'enivrante monotonie
Du métal, du marbre et de l'eau.

Babel d'escaliers et d'arcades,
C'était un palais infini,
Plein de bassins et de cascades
Tombant dans l'or mat ou bruni;

Et des cataractes pesantes,
Comme des rideaux de cristal,
Se suspendaient, éblouissantes,
À des murailles de métal.

Non d'arbres, mais de colonnades
Les étangs dormants s'entouraient,
Où de gigantesques naïades,
Comme des femmes, se miraient.

Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues,
Entre des quais roses et verts,
Pendant des millions de lieues,
Vers les confins de l'univers;

C'étaient des pierres inouïes
Et des flots magiques; c'étaient
D'immenses glaces éblouies
Par tout ce qu'elles reflétaient!

Insoucians et taciturnes,
Des Ganges, dans le firmament,
Versaient le trésor de leurs urnes
Dans des gouffres de diamant.

Architecte de mes féeries,
Je faisais, à ma volonté,
Sous un tunnel de pierreries
Passer un océan dompté;

Et tout, même la couleur noire,
Semblait fourbi, clair, irisé;
Le liquide enchâssait sa gloire
Dans le rayon cristallisé.

Nul astre d'ailleurs, nuls vestiges
De soleil, même au bas du ciel,
Pour illuminer ces prodiges,
Qui brillaient d'un feu personnel!

Et sur ces mouvantes merveilles
Planait (terrible nouveauté!
Tout pour œil, rien pour les oreilles!)
Un silence d'éternité.

II

En rouvrant mes yeux pleins de flamme
J'ai vu l'horreur de mon taudis,
Et senti, rentrant dans mon âme,
La pointe des soucis maudits;

La pendule aux accents funèbres
Sonnait brutalement midi,
Et le ciel versait des ténèbres
Sur le triste monde engourdi.

CIII LE CRÉPUSCULE DU MATIN

La diane chantait dans les cours des casernes,
Et le vent du matin soufflait sur les lanternes.
C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants
Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents;
Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge,
La lampe sur le jour fait une tache rouge;
Où l'âme, sous le poids du corps revêché et lourd,
Imite les combats de la lampe et du jour.
Comme un visage en pleurs que les brises essuient,
L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient,
Et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer.

Les maisons çà et là commençaient à fumer.
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
C'était l'heure où parmi le froid et la lésine
S'aggravent les douleurs des femmes en gésine;
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux
Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux;
Une mer de brouillards baignait les édifices,
Et les agonisants dans le fond des hospices
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.
Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux.

L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avavançait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.

русский

LE VIN

CIV L'ÂME DU VIN

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles:
"Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité!

Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.

Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content;

J'allumerai les yeux de ta femme ravie;
À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L'huile qui raffermirait les muscles des lutteurs.

En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur,
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur!"

русский

CV LE VIN DES CHIFFONNIERS

Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère
Dont le vent bat la flamme et tourmente le verre,
Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux
Où l'humanité grouille en ferments orageux,

On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête,
Butant, et se cognant aux murs comme un poète,
Et, sans prendre souci des mouchards, ses sujets,
Épanche tout son cœur en glorieux projets.

Il prête des serments, dicte des lois sublimes,
Terrasse les méchants, relève les victimes,
Et sous le firmament comme un dais suspendu
S'enivre des splendeurs de sa propre vertu.

Oui, ces gens harcelés de chagrins de ménage,
Moulus par le travail et tourmentés par l'âge,
Éreintés et pliant sous un tas de débris,
Vomissement confus de l'énorme Paris,

Reviennent, parfumés d'une odeur de futailles,

Suivis de compagnons, blanchis dans les batailles,
Dont la moustache pend comme les vieux drapeaux.
Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux

Se dressent devant eux, solennelle magie!
Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie
Des clairons, du soleil, des cris et du tambour,
Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour!

C'est ainsi qu'à travers l'Humanité frivole
Le vin roule de l'or, éblouissant Pactole;
Par le gosier de l'homme il chante ses exploits
Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois.

Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence
De tous ces vieux maudits qui meurent en silence,
Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil;
L'homme ajouta le Vin, fils sacré du Soleil!

русский

CVI LE VIN DE L'ASSASSIN

Ma femme est morte, je suis libre!
Je puis donc boire tout mon soûl.
Lorsque je rentrais sans un sou,
Ses cris me déchiraient la fibre.

Autant qu'un roi je suis heureux;
L'air est pur, le ciel admirable...
Nous avons un été semblable
Lorsque j'en devins amoureux!

L'horrible soif qui me déchire
Aurait besoin pour s'assouvir
D'autant de vin qu'en peut tenir
Son tombeau; – ce n'est pas peu dire:

Je l'ai jetée au fond d'un puits,
Et j'ai même poussé sur elle
Tous les pavés de la margelle.
– Je l'oublierai si je le puis!

Au nom des serments de tendresse,
Dont rien ne peut nous délier,
Et pour nous réconcilier
Comme au beau temps de notre ivresse,

J'implorais d'elle un rendez-vous,
Le soir, sur une route obscure.

Elle y vint! – folle créature!
Nous sommes tous plus ou moins fous!

Elle était encore jolie,
Quoique bien fatiguée! Et moi,
Je l'aimais trop! Voilà pourquoi
Je lui dis: Sors de cette vie!

Nul ne peut me comprendre. Un seul
Parmi ces ivrognes stupides
Songea-t-il dans ses nuits morbides
À faire du vin un linceul?

Cette crapule invulnérable
Comme les machines de fer
Jamais, ni l'été ni l'hiver,
N'a connu l'amour véritable,

Avec ses noirs enchantements,
Son cortège infernal d'alarmes,
Ses fioles de poison, ses larmes,
Ses bruits de chaîne et d'ossements!

– Me voilà libre et solitaire!
Je serai ce soir ivre mort;
Alors, sans peur et sans remord,
Je me coucherai sur la terre,

Et je dormirai comme un chien!
Le chariot aux lourdes roues
Chargé de pierres et de boues,
Le wagon enragé peut bien

Écraser ma tête coupable
Ou me couper par le milieu,
Je m'en moque comme de Dieu,
Du Diable ou de la Sainte Table!

русский

CVII LE VIN DU SOLITAIRE

Le regard singulier d'une femme galante
Qui se glisse vers nous comme le rayon blanc
Que la lune onduleuse envoie au lac tremblant,
Quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante;

Le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur;
Un baiser libertin de la maigre Adeline;
Les sons d'une musique énervante et câline,

Semblable au cri lointain de l'humaine douleur,

Tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonde,
Les baumes pénétrants que ta panse féconde
Garde au cœur altéré du poète pieux;

Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie,
– Et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie,
Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux.

русский

CVIII LE VIN DES AMANTS

Aujourd'hui l'espace est splendide!
Sans mors, sans éperons, sans bride,
Partons à cheval sur le vin
Pour un ciel féérique et divin!

Comme deux anges que torture
Une implacable calenture,
Dans le bleu cristal du matin
Suivons le mirage lointain!

Mollement balancés sur l'aile
Du tourbillon intelligent,
Dans un délire parallèle,

Ma sœur, côte à côte nageant,
Nous fuirons sans repos ni trêves
Vers le paradis de mes rêves!

русский

FLEURS DU MAL

CIX LA DESTRUCTION

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.

Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,

Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.

Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes,

Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la Destruction!

русский

CX UNE MARTYRE

DESSIN D'UN MAÎTRE INCONNU

Au milieu des flacons, des étoffes lamées
Et des meubles voluptueux,
Des marbres, des tableaux, des robes parfumées
Qui traînent à plis somptueux,

Dans une chambre tiède où, comme en une serre,
L'air est dangereux et fatal,
Où des bouquets mourants dans leurs cercueils de verre
Exhalent leur soupir final,

Un cadavre sans tête épanche, comme un fleuve,
Sur l'oreiller désaltéré
Un sang rouge et vivant, dont la toile s'abreuve
Avec l'avidité d'un pré.

Semblable aux visions pâles qu'enfante l'ombre
Et qui nous enchaînent les yeux,
La tête, avec l'amas de sa crinière sombre
Et de ses bijoux précieux,

Sur la table de nuit, comme une renoncule,
Repose; et, vide de pensers,
Un regard vague et blanc comme le crépuscule
S'échappe des yeux révulsés.

Sur le lit, le tronc nu sans scrupules étale
Dans le plus complet abandon
La secrète splendeur et la beauté fatale
Dont la nature lui fit don;

Un bas rosâtre, orné de coins d'or, à la jambe,
Comme un souvenir est resté;
La jarretière, ainsi qu'un œil secret qui flambe,
Darde un regard diamanté.

Le singulier aspect de cette solitude
Et d'un grand portrait langoureux,
Aux yeux provocateurs comme son attitude,
Révèle un amour ténébreux,

Une coupable joie et des fêtes étranges
Pleines de baisers infernaux,
Dont se réjouissait l'essaim des mauvais anges
Nageant dans les plis des rideaux;

Et cependant, à voir la maigre élégante
De l'épaule au contour heurté,
La hanche un peu pointue et la taille fringante
Ainsi qu'un reptile irrité,

Elle est bien jeune encore! – son âme exaspérée
Et ses sens par l'ennui mordus
S'étaient-ils entr'ouverts à la meute altérée
Des désirs errants et perdus?

L'homme vindicatif que tu n'as pu, vivante,
Malgré tant d'amour, assouvir,
Combla-t-il sur ta chair inerte et complaisante
L'immensité de son désir?

Réponds, cadavre impur! Et par tes tresses roides
Te soulevant d'un bras fiévreux,
Dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents froides
Collé les suprêmes adieux?

– Loin du monde railleur, loin de la foule impure,
Loin des magistrats curieux,
Dors en paix, dors en paix, étrange créature,
Dans ton tombeau mystérieux;

Ton époux court le monde, et ta forme immortelle
Veille près de lui quand il dort;
Autant que toi sans doute il te sera fidèle,
Et constant jusques à la mort.

русский

CXI FEMMES DAMNÉES

Comme un bétail pensif sur le sable couchées,
Elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers,
Et leurs pieds se cherchent et leurs mains rapprochées
Ont de douces langueurs et des frissons amers.

Les unes, cœurs épris des longues confidences,
Dans le fond des bosquets où jasant les ruisseaux,
Vont épelant l'amour des craintives enfances
Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux;

D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves
À travers les rochers pleins d'apparitions,
Où Saint Antoine a vu surgir comme des laves
Les seins nus et pourprés de ses tentations;

Il en est, aux lueurs des résines croulantes,
Qui dans le creux muet des vieux antres païens
T'appellent au secours de leurs fièvres hurlantes,
Ô Bacchus, endormeur des remords anciens!

Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires,
Qui, recelant un fouet sous leurs longs vêtements,
Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitaires,
L'écume du plaisir aux larmes des tourments.

Ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres,
De la réalité grands esprits contempteurs,
Chercheuses d'infini, dévotes et satyres,
Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs,

Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies,
Pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains,
Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,
Et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins!

русский

CXII LES DEUX BONNES SŒURS

La Débauche et la Mort sont deux aimables filles,
Prodigues de baisers et riches de santé,
Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles
Sous l'éternel labeur n'a jamais enfanté.

Au poète sinistre, ennemi des familles,
Favori de l'enfer, courtisan mal renté,
Tombeaux et lupanars montrent sous leurs charmilles
Un lit que le remords n'a jamais fréquenté.

Et la bière et l'alcôve en blasphèmes fécondes
Nous offrent tour à tour, comme deux bonnes sœurs,
De terribles plaisirs et d'affreuses douceurs.

Quand veux-tu m'enterrer, Débauche aux bras immondes?
Ô Mort, quand viendras-tu, sa rivale en attraits,

Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès?

русский

CXIII
LA FONTAINE DE SANG

Il me semble parfois que mon sang coule à flots,
Ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots.
Je l'entends bien qui coule avec un long murmure,
Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure.

À travers la cité, comme dans un champ clos,
Il s'en va, transformant les pavés en îlots,
Désaltérant la soif de chaque créature,
Et partout colorant en rouge la nature.

J'ai demandé souvent à des vins captieux
D'endormir pour un jour la terreur qui me mine;
Le vin rend œil plus clair et l'oreille plus fine!

J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux;
Mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles
Fait pour donner à boire à ces cruelles filles!

русский

CXIV
ALLÉGORIE

C'est une femme belle et de riche encolure,
Qui laisse dans son vin traîner sa chevelure.
Les griffes de l'amour, les poisons du tripot,
Tout glisse et tout s'émousse au granit de sa peau.
Elle rit à la Mort et nargue la Débauche,
Ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche,
Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté
De ce corps ferme et droit la rude majesté.
Elle marche en déesse et repose en sultane;
Elle a dans le plaisir la foi mahométane,
Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins,
Elle appelle des yeux la race des humains.
Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde
Et pourtant nécessaire à la marche du monde,
Que la beauté du corps est un sublime don
Qui de toute infamie arrache le pardon.
Elle ignore l'Enfer comme le Purgatoire,
Et quand l'heure viendra d'entrer dans la Nuit noire,
Elle regardera la face de la Mort,

Ainsi qu'un nouveau-né, - sans haine et sans remord.

русский

CXV
LA BÉATRICE

Dans des terrains cendreaux, calcinés, sans verdure,
Comme je me plaignais un jour à la nature,
Et que de ma pensée, en vaguant au hasard,
J'aiguissais lentement sur mon cœur le poignard,
Je vis en plein midi descendre sur ma tête
Un nuage funèbre et gros d'une tempête,
Qui portait un troupeau de démons vicieux,
Semblables à des nains cruels et curieux.
À me considérer froidement ils se mirent,
Et, comme des passants sur un fou qu'ils admirent,
Je les entendis rire et chuchoter entre eux,
En échangeant maint signe et maint clignement d'yeux:

– "Contemplons à loisir cette caricature
Et cette ombre d'Hamlet imitant sa posture,
Le regard indécis et les cheveux au vent.
N'est-ce pas grand'pitié de voir ce bon vivant,
Ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle,
Parce qu'il sait jouer artistement son rôle,
Vouloir intéresser au chant de ses douleurs
Les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs,
Et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques,
Réciter en hurlant ses tirades publiques?"

J'aurais pu (mon orgueil aussi haut que les monts
Domine la nuée et le cri des démons)
Détourner simplement ma tête souveraine,
Si je n'eusse pas vu parmi leur troupe obscène,
Crime qui n'a pas fait chanceler le soleil!
La reine de mon cœur au regard nonpareil,
Qui riait avec eux de ma sombre détresse
Et leur versait parfois quelque sale caresse.

русский

CXVI
UN VOYAGE À CYTHÈRE

Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux
Et planait librement à l'entour des cordages;
Le navire roulait sous un ciel sans nuages,
Comme un ange enivré d'un soleil radieux.

Quelle est cette île triste et noire? – C'est Cythère,
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,
Eldorado banal de tous les vieux garçons.
Regardez, après tout, c'est une pauvre terre.

– Île des doux secrets et des fêtes du cœur!
De l'antique Vénus le superbe fantôme
Au-dessus de tes mers plane comme un arôme,
Et charge les esprits d'amour et de langueur.

Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses,
Vénérée à jamais par toute nation,
Où les soupirs des cœurs en adoration
Roulent comme l'encens sur un jardin de roses

Ou le roucoulement éternel d'un ramier!
– Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
J'entrevois pourtant un objet singulier!

Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères,
Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs,
Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,
Entre-bâillant sa robe aux brises passagères;

Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près
Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches,
Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches,
Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès.

De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;

Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré.

Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes,
Le museau relevé, tournoyait et rôdait;
Une plus grande bête au milieu s'agitait
Comme un exécuteur entouré de ses aides.

Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau,
Silencieusement tu souffrais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des péchés qui t'ont interdit le tombeau.

Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!

Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs anciennes;

Devant toi, pauvre diable au souvenir si cher,
J'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires
Des corbeaux lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à triturer ma chair.

– Le ciel était charmant, la mer était unie;
Pour moi tout était noir et sanglant désormais,
Hélas! Et j'avais, comme en un suaire épais,
Le cœur enseveli dans cette allégorie.

Dans ton île, ô Vénus! Je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image...
– Ah! Seigneur! Donnez-moi la force et le courage
De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût!

русский

CXVII L'AMOUR ET LE CRÂNE

VIEUX CUL-DE-LAMPE.

L'amour est assis sur le crâne
De l'Humanité,
Et sur ce trône le profane
Au rire effronté,

Souffle gaiement des bulles rondes
Qui montent dans l'air,
Comme pour rejoindre les mondes
Au fond de l'éther.

Le globe lumineux et frêle
Prend un grand essor,
Crève et crache son âme grêle
Comme un songe d'or.

J'entends le crâne à chaque bulle
Prier et gémir:
– "Ce jeu féroce et ridicule,
Quand doit-il finir?"

Car ce que ta bouche cruelle
Éparpille en l'air,
Monstre assassin, c'est ma cervelle,
Mon sang et ma chair!"

REVOLTE

CXVIII

LE RENIEMENT DE SAINT PIERRE

Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes
Qui monte tous les jours vers ses chers Séraphins?
Comme un tyran gorgé de viande et de vins,
Il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes.

Les sanglots des martyrs et des suppliciés
Sont une symphonie enivrante sans doute,
Puisque, malgré le sang que leur volupté coûte,
Les cieux ne s'en sont point encore rassasiés!

– Ah! Jésus, souviens-toi du Jardin des Olives!
Dans ta simplicité tu priais à genoux
Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous
Que d'ignobles bourreaux plantaient dans tes chairs vives,

Lorsque tu vis cracher sur ta divinité
La crapule du corps de garde et des cuisines,
Et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines
Dans ton crâne où vivait l'immense Humanité;

Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible
Allongeait tes deux bras distendus, que ton sang
Et ta sueur coulaient de ton front pâissant,
Quand tu fus devant tous posé comme une cible,

Rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux
Où tu vins pour remplir l'éternelle promesse,
Où tu foulais, monté sur une douce ânesse,
Des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux,

Où, le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance,
Tu fouettais tous ces vils marchands à tour de bras,
Où tu fus maître enfin? Le remords n'a-t-il pas
Pénétré dans ton flanc plus avant que la lance?

– Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve;
Puissé-je user du glaive et périr par le glaive!
Saint Pierre a renié Jésus... Il a bien fait!

русский

CXIX
ABEL ET CAÏN

I

Race d'Abel, dors, bois et mange;
Dieu te sourit complaisamment.

Race de Caïn, dans la fange
Rampe et meurs misérablement.

Race d'Abel, ton sacrifice
Flatte le nez du Séraphin!

Race de Caïn, ton supplice
Aura-t-il jamais une fin?

Race d'Abel, vois tes semailles
Et ton bétail venir à bien;

Race de Caïn, tes entrailles
Hurlent la faim comme un vieux chien.

Race d'Abel, chauffe ton ventre
À ton foyer patriarcal;

Race de Caïn, dans ton antre
Tremble de froid, pauvre chacal!

Race d'Abel, aime et pullule!
Ton or fait aussi des petits.

Race de Caïn, cœur qui brûle,
Prends garde à ces grands appétits.

Race d'Abel, tu croïs et broutes
Comme les punaises des bois!

Race de Caïn, sur les routes
Traîne ta famille aux abois.

II

Ah! Race d'Abel, ta charogne
Engraissera le sol fumant!

Race de Caïn, ta besogne
N'est pas faite suffisamment;

Race d'Abel, voici ta honte:
Le fer est vaincu par l'épieu!

Race de Caïn, au ciel monte,
Et sur la terre jette Dieu!

русский

CXX
LES LITANIES DE SATAN

Ô toi, le plus savant et le plus beau des Anges,
Dieu trahi par le sort et privé de louanges,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Ô Prince de l'exil, à qui l'on a fait tort,
Et qui, vaincu, toujours te redresses plus fort.

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines,
Guérisseur familier des angoisses humaines,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits,
Enseignes par l'amour le goût du Paradis,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Ô toi qui de la Mort, ta vieille et forte amante,
Engendras l'Espérance, – une folle charmante!

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut
Qui damne tout un peuple autour d'un échafaud,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui sais en quels coins des terres envieuses
Le Dieu jaloux cacha les pierres précieuses,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux
Où dort enseveli le peuple des métaux,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi dont la large main cache les précipices
Au somnambule errant au bord des édifices,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui, magiquement, assouplis les vieux os
De l'ivrogne attardé foulé par les chevaux,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre,
Nous appris à mêler le salpêtre et le soufre,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui poses ta marque, ô complice subtil,
Sur le front du Crésus impitoyable et vil,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles
Le culte de la plaie et l'amour des guenilles,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Bâton des exilés, lampe des inventeurs,
Confesseur des pendus et des conspirateurs,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère
Du paradis terrestre a chassés Dieu le Père,

Ô Satan, prends pitié de ma longue misère!

PRIÈRE

Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs
Du Ciel, où tu règnas, et dans les profondeurs
De l'Enfer, où, vaincu, tu rêves en silence!
Fais que mon âme un jour, sous l'Arbre de Science,
Près de toi se repose, à l'heure où sur ton front
Comme un Temple nouveau ses rameaux s'épandront!

русский

LA MORT

CXXI LA MORT DES AMANTS

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,

Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux;

Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

русский

CXXII LA MORT DES PAUVRES

C'est la Mort qui console, hélas! Et qui fait vivre;
C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir;

À travers la tempête, et la neige, et le givre,
C'est la clarté vibrante à notre horizon noir;
C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre,
Où l'on pourra manger, et dormir, et s'asseoir;

C'est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves extatiques,
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus;

C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique,
C'est la bourse du pauvre et sa patrie antique,
C'est le portique ouvert sur les Cieux inconnus!

русский

CXXIII LA MORT DES ARTISTES

Combien faut-il de fois secouer mes grelots
Et baiser ton front bas, morne caricature?
Pour piquer dans le but, de mystique nature,
Combien, ô mon carquois, perdre de javelots?

Nous userons notre âme en de subtils complots,
Et nous démolirons mainte lourde armature,
Avant de contempler la grande Créature
Dont l'inferral désir nous remplit de sanglots!

Il en est qui jamais n'ont connu leur Idole,
Et ces sculpteurs damnés et marqués d'un affront,
Qui vont se martelant la poitrine et le front,

N'ont qu'un espoir, étrange et sombre Capitole!
C'est que la Mort, planant comme un soleil nouveau,
Fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau!

русский

CXXIV LA FIN DE LA JOURNÉE

Sous une lumière blafarde
Court, danse et se tord sans raison
La Vie, impudente et criarde.
Aussi, sitôt qu'à l'horizon

La nuit voluptueuse monte,
Apaisant tout, même la faim,
Effaçant tout, même la honte,
Le Poète se dit: "Enfin!

Mon esprit, comme mes vertèbres,
Invoque ardemment le repos;
Le cœur plein de songes funèbres,

Je vais me coucher sur le dos
Et me rouler dans vos rideaux,
Ô rafraîchissantes ténèbres!"

русский

CXXV LE RÊVE D'UN CURIEUX

Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse,
Et de toi fais-tu dire: "Oh! l'homme singulier!"
– J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse,
Désir mêlé d'horreur, un mal particulier;

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.

À F.N.

Plus allait se vidant le fatal sablier,
Plus ma torture était âpre et délicate;
Tout mon cœur s'arrachait au monde familier.

J'étais comme l'enfant avide du spectacle,
Haïssant le rideau comme on hait un obstacle...
Enfin la vérité froide se révéla:

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore
M'enveloppait. – Eh quoi! N'est-ce donc que cela?
La toile était levée et j'attendais encore.

русский

CXXVI LE VOYAGE

À Maxime Du Camp.

I

Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit.
Ah! Que le monde est grand à la clarté des lampes!
Aux yeux du souvenir que le monde est petit!

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le cœur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers:

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme;
D'autres, l'horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d'une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent
D'espace et de lumière et de cieux embrasés;
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,
Effacent lentement la marque des baisers.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons!

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,
Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon,
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom!

II

Nous imitons, horreur! La toupie et la boule
Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos sommeils
La Curiosité nous tourmente et nous roule,
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.

Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n'étant nulle part, peut être n'importe où:
Où l'Homme, dont jamais l'espérance n'est lasse,
Pour trouver le repos court toujours comme un fou!

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie;
Une voix retentit sur le pont: "Ouvre œil!"
Une voix de la hune, ardente et folle, crie:
"Amour... Gloire... Bonheur!" "Enfer! C'est un écueil!"

Chaque îlot signalé par l'homme de vigie
Est un Eldorado promis par le Destin;
L'Imagination qui dresse son orgie
Ne trouve qu'un récif aux clartés du matin.

Ô le pauvre amoureux des pays chimériques!
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer,
Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amériques
Dont le mirage rend le gouffre plus amer?

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,
Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis;
Son œil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis.

III

Étonnants voyageurs! Quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers!
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile!
Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons.

Dites, qu'avez-vous vu?

IV

"Nous avons vu des astres
Et des flots; nous avons vu des sables aussi;
Et, malgré bien des chocs et d'imprévus désastres,
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

La gloire du soleil sur la mer violette,
La gloire des cités dans le soleil couchant,
Allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.

Les plus riches cités, les plus grands paysages,
Jamais ne contenaient l'attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages.
Et toujours le désir nous rendait soucieux!

– La jouissance ajoute au désir de la force.
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais,
Cependant que grossit et durcit ton écorce,
Tes branches veulent voir le soleil de plus près!

Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace
Que le cyprès? – pourtant nous avons, avec soin,
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace,
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin!

Nous avons salué des idoles à trompe:
Des trônes constellés de bijoux lumineux;
Des palais ouvragés dont la féerique pompe
Serait pour vos banquiers une rêve ruineux;

Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse;
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints,
Et des jongleurs savants que le serpent caresse."

V

Et puis, et puis encore?

VI

"Ô cerveaux enfantins!

Pour ne pas oublier la chose capitale,
Nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché,
Du haut jusques en bas de l'échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché:

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût;
L'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,
Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout;

Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote;
La fête qu'assaisonne et parfume le sang;
Le poison du pouvoir énervant le despote,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant;

Plusieurs religions semblables à la nôtre,
Toutes escaladant le ciel; la Sainteté,
Comme en un lit de plume un délicat se vautre,
Dans les clous et le crin cherchant la volupté;

L'Humanité bavarde, ivre de son génie,
Et folle, maintenant comme elle était jadis,
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie:
"Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis!"

Et les moins sots, hardis amants de la Démence,
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,
Et se réfugiant dans l'opium immense!
– Tel est du globe entier l'éternel bulletin."

VII

Amer savoir, celui qu'on tire du voyage!
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image:
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui!

Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste;
Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit
Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste,
Le Temps! Il est, hélas! Des coureurs sans répit,

Comme le Juif errant et comme les apôtres,
À qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau,
Pour fuir ce rétiaire infâme; il en est d'autres
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine,
Nous pourrons espérer et crier: En avant!
De même qu'autrefois nous partions pour la Chine,
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres
Avec le cœur joyeux d'un jeune passager.
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres,
Qui chantent: "par ici! Vous qui voulez manger

Le Lotus parfumé! C'est ici qu'on vendange
Les fruits miraculeux dont votre cœur a faim;
Venez vous enivrer de la douceur étrange
De cette après-midi qui n'a jamais de fin!"

À l'accent familier nous devinons le spectre;
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.
"Pour rafraîchir ton cœur nage vers ton Électre!"
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.

VIII

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! Levons l'ancre!
Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons!

Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte!
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe,
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau!

русский